



Интервью с Ольгой Константиновной КРОКИНСКОЙ

**«Я бы не сказала, что меняются студенты.
Меняется — и не в лучшую сторону — университет»**

Крокинская О. К. — окончила Гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета, отделение истории (1972 г.), доктор социологических наук, профессор кафедры социологии факультета социальных наук РГПУ им. А.И.Герцена с 2002 г. Основные области научного интереса: социология образования, социология культуры, социология гражданского общества, когнитивная социология, социосемиотика
Интервью состоялось: январь-сентябрь 2015 г.

Конец сентября 2015 года. Двенадцать месяцев назад было завершено лишь немногим более 80 интервью с российскими социологами, и далекой мечтой казалось достижение сотни интервью. Сейчас их — 133 в галерее книги «Интервью с коллегами-социологами» и еще несколько закончено, но пока не размещено на сайте. Однако, заметное количественное приращение биографической информации — не главный итог проделанной за год работы. Пару месяцев назад я задумал сворачивать процесс интервьюирования, уже тогда переход от накопления данных к их анализу представлялся оправданным. Сейчас в таком решении вообще не приходится сомневаться.

Отмечу, не организационные моменты детерминировали мое решение о завершении процесса интервьюирования (хотя и они учитывались), но методологические. Такое решение базировалось на концепции «матрицы событий», или «событийного каркаса», которые строятся на основе изучения биографий социологов.

По своей природе «матрица», или «каркас», это особого рода знаковые модели для описания пространства событий, упоминаемых социологами в наших беседах. Пока число проведенных интервью оставалось небольшим, в каждом новом «разговоре» появлялись какие-то новые ситуации, значимые для понимания становления и развития социологии как науки или нашего профессионального сообщества. Так постепенно матрица заполнялась. Но по мере увеличения числа интервью, количество новых, т.е. не встречавшихся ранее в интервью, ситуаций уменьшалась, т.е. в матрице не появлялось новых «клеток». Происходило лишь усиление плотности отдельных зон нашего воображаемого пространства. Имеет смысл говорить о «матрице», или «каркасе», применительно к конкретному поколению, группе последовательных поколений или применительно к всему социологическому сообществу.

«Лабораторно» эта концепция тестировалась мною с середины 2013 года, а впервые я сказал о ней летом 2014 года в дискуссии с Л.А. Козловой при обсуждении итогов десятилетней работы над моим историко-социологическим проектом. Тогда в моем архиве насчитывалось всего 60 интервью, 56 из которых были с социологами первых четырех поколений, т.е., родившимся не позже 1958 года (Таблица 1). Кроме того, три социолога принадлежали к V поколению и один - к VI когорте. Так что материал для построения матрицы, конструирования каркаса был ограниченным и в количественном, и в качественном отношении.

К настоящему моменту возможности для построения таких матриц и аналитических операций в рамках описанного модельного пространства принципиально обогатились (Таблица 1). Полсотни представителей V-VII поколений – это интереснейший, богатейший материал для изучения трендов в развитии постсоветской социологии. Это – новая общность, изучение которой позволяет заглянуть в наше будущее и лучше понять прошлое.

Таблица 1

Структура опрошенных (на конец сентября 2015 года)

Поколение социологов	Годы рождения	Количество интервью		Социально-хронологическое название поколения
		2014, июнь	2015, сентябрь	
Первое	1923–1934	8	8	«Шестидесятники» (первая волна)
Второе	Конец 1920-х – 1934	12	13	«Шестидесятники» (вторая волна)
Третье	1935–1946	21	27	Военное
Четвертое	1947–1958	15	35	Первое послевоенное
Пятое	1959–1970	3	20	Постоттепельное
Шестое	1971–1982	1	20	Предперестроечное (годы застоя)
Седьмое	1983–1994	0	10	Дети перестройки
Итого		60	131	

Интервью с Ольгой Константиновной Крокинской – социологом IV поколения из Санкт-Петербурга – документ, очень интересный, многоплановый, он – об истории страны, об истории социологии, об истории ее семьи и, конечно

же, о ее вхождении в социологию и продолжительном периоде работы в ней. Причем, это не упоминание происходившего, а детальное описание, в котором — как правило — четко обнаруживается авторская позиция. Мы говорили долго, начали 6 января 2015 года и закончили в начале второй декады сентября. Конечно, было несколько перерывов, но в целом же работа шла постоянно. Я не торопил Ольгу, а она каждый раз присылала мне очень развернутые ответы на мои вопросы. Общий объем нашего интервью — 4,5 листа. Это — небольшая книга.

Размер текста интервью — немалый, но и не самый выдающийся. В моей практике есть несколько интервью примерно такого размера, есть и более «крупные». Но, можно сказать, что интервью с Крокинской — наиболее исторично. Оно охватывает более продолжительный период времени, чем другие интервью подобного размера. К нему приближается по размеру и по охвату описываемого времени лишь интервью с Ю.Г. Вешнинским, московским социологом архитектуры, представляющим III поколение социологов. Безусловно в процессе будущего анализа собранной информации мне придется множество раз обращаться к его воспоминаниям, по крайней мере в силу «присутствия» в них нескольких ключевых в истории культуры фигур. Но в целом это интервью — более камерное, менее историко-социологично, чем информация, которой поделилась Ольга Крокинская.

Первичная социализация Ольги прошла в послевоенной Самаре (тогда Куйбышеве), историческое образование она получила в Новосибирском университете, защитив диплом по историко-социологической теме, которую она развивала в опоре на редко использовавшийся в то время (1972 г.) биографический метод. Через два года она стала работать в Ленинграде в Научно-исследовательском институте комплексных социальных исследований (НИИКСИ) — одном из сильнейших в городе социологических центров. В настоящее время Крокинская — доктор социологических наук, профессор кафедры социологии факультета социальных наук Российского государственного университета им. А. И. Герцена (с 20?? г.). Таким образом, ее рассказ охватывает многие стороны развития социологии и социологического сообщества в Ленинграде-Петербурге за последние четыре с лишним десятилетия.

Москва представлена в моем архиве наибольшим числом социологов (53 человека), за ней следует Санкт-Петербург (46 человек). Поэтому можно было бы ожидать, что к настоящему времени матрица событий применительно к развитию ленинградско-петербургской социологии должна включать себя многое из происходившего в развитии социологии города и в самом научном (социологическом) сообществе. Так оно и оказалось. Содержание интервью с Ольгой Крокинской в принципе может быть в его значительной части «распределено» между уже существующими клетками матрицы, в частности, все ведущие социологи НИИКСИ, имена которых называл мой собеседник, присутствуют в рассказах ранее опрошенных социологов, в разные годы работавших в этом институте: В. Я. Ельмеева, Я. И. Гилинского, Р. С. Могилевского, Л. В. Пановой, А. А. Русалиновой и Е. Э. Смирновой.

Таким образом, уже первичное рассмотрение материалов интервью с Крокинской подводит нас к уточнению процедуры изучения матрицы событий (или каркаса событий). По-видимому, в будущем целесообразно говорить

макроанализе пространства событий, фокусированном на исследовании «плотных», «тяжелых» клеток матрицы, и микроанализе, в центре внимания которого должны быть «легкие», «единичные» события.

Крокинская О. К.: «Я бы не сказала, что меняются студенты.

Меняется — и не в лучшую сторону — университет»

Ольга, в конце 2014 года на сайте Когита.Ру было небольшая заметка под названием «Беседа о корнях с Ольгой Крокинской». В ней сообщается о Вашем выступлении в Интерьерном театре с рассказом о Вашей семье. Есть там и такие слова: «Её отец, Константин Крокинский, был узником Бухенвальда, участвовал в лагерьном подполье и восстании 11 апреля 1945 года...».

Пожалуйста, давайте и наш разговор начнем с истории Вашей семьи.

Здравствуйте, Борис Зусманович. Мне очень приятно Ваше предложение. Уже до нас, грешных, дело дошло? Второй, а скорее, третий уже эшелон... С трудом себе представляю, чем могу пополнить Вашу копилку, вряд ли в моей практике есть что-то очень уж существенное для отечественной науки. И, честно, особой памяти на события у меня нет, не то, что у Лены Смирновой. В человеческих и клановых отношениях нашей корпорации я совершенно не разбираюсь, никогда ни в какие тусовки не входила. Но с удовольствием напоминаю, что когда-то давно никто иной, как Вы давали мне рекомендацию в СПАС — Питерскую социологическую ассоциацию (только тогда она, кажется, как-то по-другому называлась).

Вот, думаю... Подумала... Что ж, я согласна, и буду очень стараться рассказать что-то интересное. По Вашему предложению, перехожу на обращение по имени.

Здравствуйте, Борис. Начинаю свое повествование. Как говорится, «I was born...»

Я родилась в городе Куйбышеве 29 февраля 1948 года. Как видите, матушка умудрилась родить меня в особенный день, что до сих пор приносит мне много разных приятных последствий. Во-первых, в високосные годы у меня вал поздравлений, все вспоминают, что кто-то у них на этот день есть, а теперь, на просторах Facebook'а, который неустанно напоминает о днях рождения друзей и подписчиков, и того пуще; во-вторых, почему-то считается, что если ДР случается один раз в 4 года, то это помогает быть всё ещё чуть ли не подростком, ведь еще и до 17 законных циклов не добралась; ну, а в-третьих, я и сама с детства считала, что такой особенный день рождения придает и мне самой некоторую особенность. По этой ли причине, или по какой-то другой, я довольно рано стала себя осознавать и сознательно «строить» — так, как считала правильным.

Родной свой город, который и сейчас очень люблю, мы в детской нашей компании, да и потом, редко называли именем Куйбышев, гораздо чаще Самарой, — первым историческим именем, который ему вернули в 1990-е годы, когда возвращение имен было важным трендом культурной политики. При этом о самом Валериане Владимировиче Куйбышеве, в отличие от других советских деятелей, я никогда ничего плохого не слышала. Может быть, по этой причине в городе до сих пор есть площадь Куйбышева, памятник Куйбышеву и улица Куйбышева, на которой мы и жили.

Мои родители принадлежали, как сказали бы сейчас, к нижней страте советского среднего класса. Мама была учительницей начальной школы, отец работал в Облпотребсоюзе. Вот, думала облпотребсоюз – сугубо советское явление, а оказалось, оно живет и, может быть, даже процветает. Да и как не жить, если это нормальная рыночная система закупок и продаж местной сельскохозяйственной продукции, связывающая производителя и потребителя, в том числе, в городах. И в городах (в Куйбышеве тоже, я их помню) были специальные магазины с товаром, явно отличающимся от фабрично-заводского. Конечно, в СССР под присмотром государства, с участием госкапитала, но все же какой-ни-какой рыночный товарообмен, живое и, наверное, во многом теневое дело, в котором знаменитое советское «достать» вместо «купить» было еще более естественным, чем в советской торговле вообще. Наверное, по этой причине мы с моими двоюродными братом и сестрой в детстве щеголяли в цигейковых шубках тигровой расцветки, которые доставал папа. Есть довольно смешные фотографии, где я в возрасте лет 3-х лет с отцом на демонстрации 7 ноября фигурирую, как говорила мама, с флажком и в этой шубе до пят.

Мама была хорошей учительницей, ребята ее любили, бывали у нас дома, навещали ее и учась уже в старших классах. Все-таки в Союзе «учительница первая моя» – человек, очень уважаемый и часто любимый, в песнях прославленный, которые все пели. А тут – и по правде: выдумщица была, строгая, но заводная, активная, всё какие-то наглядные пособия придумывала и меня в их изготовление вовлекала с раннего возраста. Тетради по русскому языку доверяла мне проверять, когда я еще и в школу не ходила! Потому что лет с 4-х уже умела читать и писать, и как-то это само собой получилось, специально она меня не учила.

Но это все – уже в 1950-е годы, а до войны жизнь и история изрядно потрепали молодых тогда моих родителей. Мама – Евдокия Николаевна Федорова, в семье Дуся, – была одной из 11 детей своего отца, крестьянина села Алексеевка Самарской губернии – зажиточного хозяина, в соответствующее время, конечно, раскулаченного. Семью и детей в результате разбросало по Поволжью и Средней Азии, из своих дядьев и теток я знала только четверых. Мама оказалась сначала в городе Хвалынске, работала там в семье инженера нянкой, училась на рабфаке и после рабфака стала учительницей, и оставалась ею до выхода на пенсию. Карьеры такая работа не предусматривала. А она могла бы, способности были. Тут непременно надо сказать, что семья моего деда была молоканская. Молокане – разновидность, течение, движение или субкультура т.н. «духовных христиан», т.е. христиан, исповедующих Учение Христа «в Духе», а не в церкви, у них нет храмов, священников и многих обрядов православия, наоборот, по стилю жизненных установок и образу жизни их часто сравнивают с протестантами.

На примере мамы и ее семьи я думаю, что это имеет основания. Вот о Боге, религии, ритуалах я от нее никогда ничего не слышала (впрочем, она же была комсомолка, рабфаковка), а вот все, что касается труда, работы, любого дела было для нее абсолют. В любую минуту ее руки были там, где происходило что-то практическое. От нее я научилась шить, и вплоть до прихода общества потребления, то есть все время скудного существования в условиях дефицита, шила всё – от носового платка и трусов до костюмов и пальто, для себя, мужа и сына. Она физически не выносила того, что считала бездельем: «Не сиди про-

сто так, делай что-нибудь» – было ее жестким требованием. При этом модница, шеголиха, лет до 80-ти ходила в туфлях на высоких каблуках, и звалась отнюдь не Дусей, а Диной – в честь Дины Дурбин, конечно, облику которой в одежде и причёске она долго подражала. Так и осталась до конца жизни Диной Николаевной.

Мама оставила мемуары! Писала их, выйдя на пенсию, думаю именно для того, чтобы «что-то делать», хотя и на пенсии продолжала работать. Когда и я все-таки выйду на пенсию, то первое, что сделаю – переведу мамины мемуары в электронную форму, а может, и опубликую, потому что это замечательный документ эпохи. Там есть картины крестьянского «кулаческого» детства, сюжеты, связанные с семейными отношениями, хозяйством, развлечениями, и написано это таким живым, богатым языком, что право, достойно публикации. И – что в свое время произвело на меня очень сильное, уже исследовательское, впечатление – язык этот исчезает, становится советским и суконным, когда она пишет о годах своей жизни в Хвалынске и Самаре.

С историей и жизнью моего отца, Константина Мироновича Крокинского, связано много неясного. Известно, что он по происхождению поляк, польский еврей, мальчиком бежал с братом из Польши во время советско-польской войны 1920-х годов. Следы брата совершенно затерялись, а он оказался в Самаре, где в 1939 году они с мамой поженились. Во время войны он попал в плен и содержался в Бухенвальде. Вернулся в 1946 году, а в 1952-м умер от полученного в лагере туберкулеза. Я всегда знала о плене и Бухенвальде, но очень глухо, мама не любила об этом говорить, а я была слишком мала, чтобы самой узнать это от отца. Да и то правда, что ни доблестью, ни подвигом это не считалось. От послелагерных репрессий отца спас, видимо, туберкулез и участие в восстании в апреле 1945 года. То, что я об этом знаю, я знаю из книг, одна из которых есть дома (маленькая книжка Олега Моисеева «Ключ от берлинской квартиры», 1965 года издания), а несколько других знаю уже по текстам, найденным в Интернете. Это, в основном, воспоминания узников о многонациональной подпольной организации в лагере, которая, зная о приближении союзнических войск, смогла выступить изнутри лагеря, этим остановить его работу и спасти, возможно, тысячи узников от готовившегося уничтожения. Из этих воспоминаний я знаю, что отец входил в одну из подпольных групп, готовивших восстание, и был связным в группе руководителя восстания Николая Кюнга.

От мамы я знаю только два эпизода, связанных с лагерем. Один, известный и из других источников факт, касающийся методов расчеловечивания, характерных для нацистской машины концлагерей, которая имела целью не только физическое уничтожение человека, но и, может быть, прежде всего, уничтожение, стирание его личности. Уже на исходе своей жизни мама рассказывала, что заключенным, выводимым из лагеря на внешние работы, чтобы пройти через ворота лагеря, надо было оттолкнуть рукой уже разлагающийся труп кого-то из умерших товарищей. А второе – что к нам домой приходил писатель Константин Симонов, собиравший материал для книги о Бухенвальде. Но книга эта осталась не написанной и не изданной.

Еще одна неясность, даже тайна, связанная с отцом – это его фамилия. Она уникальна, своих однофамильцев я никогда не встречала, и мои – правда, не очень активные – поиски в интернете никакого результата не принесли. В итоге я думаю, что фамилия его произошла из писарской ошибки, особенно если

учесть обстоятельства появления и регистрации беженцев из воюющих стран в 1920-е годы. Буквально несколько недель назад возник новый след, который ведет не в Америку, как я думала, поскольку именно туда стремились, в основном беженцы из Польши, а в Германию. Что ж, попробую.

Его фамилия – это и моя фамилия, в замужестве я ее не меняла, потому что папа меня об этом просил. Я нашла эту просьбу среди бумаг и старых документов, когда мне было лет 16, в адресованном мне письме из больницы, где он вскоре умер.

Несмотря на тяготы, страдания и пережитой лагерный ужас, папа был замечательно светлым, эмоционально теплым человеком. Так говорила о нем моя тетушка Люба, мамина сестра, мой двоюродный брат, который после войны был уже подростком и хорошо его помнит, так помню его я по нескольким эпизодам детской памяти, и так я его понимаю, глядя на фотографии. А поскольку мама, нередко упрекая меня в своеволии и упрямстве, которые я считала просто желанием отстоять собственное мнение, сопровождала это словами «Вот, папенька родимый», – то я считаю себя папиной дочкой и совершенно сознательно всю жизнь себя с ним, с его образом, соотношу.

Рассказывая о семье, я должна – и очень хочу – назвать еще бабушку. Христина Семеновна Сенчурина – не родной для моей семьи человек, просто соседка по двору, была мне любимой и единственной бабушкой. Других – ни со стороны мамы, ни, естественно, со стороны отца, не было. Христина Семеновна, баба Хрестя, казачка, участница гражданской войны, вместе с мужем и моим, выходит, дедушкой, а для меня именно так, воевала в составе Первой конной армии, а после уже Отечественной войны жила в крохотной комнатке на подселении к богатой семье других наших соседей. Мама, оставшись после смерти отца одна, работала в две смены, а соседку просто просила за мной присмотреть. Ну, она и присматривала, и стала совершенно родная. Я даже считаю ее своей главной воспитательницей, ее добро и ласку помню всегда. Мне было 12 лет, когда она умерла, и мама получила меня «готовенькой» – в сущности мало знакомую девочку, наверное, не совсем такую, как ей хотелось. И здесь возникает развилка моей биографии, которая привела меня в результате в Новосибирск, в университет и в социологию.

Но перед этим была школа.

Да, конечно, о школе... детям из семей, в которых родители – учителя, часто трудно в школах... повспоминайте, и не только учебу, но жизнь вне школы...

Итак, школа. Сразу вспомнились две песни – «Школьные годы чудесные» и «Школьный вальс»:

Вот это:

«В первый погожий сентябрьский денек
Робко входил я под светлые своды,
Первый учебник и первый урок –
Так начинаются школьные годы...»

И вот это:

«Давно, друзья веселые,
простились мы со школою,
но каждый год мы в свой приходим класс.
В саду березки с кленами
встречают нас поклонами
и школьный вальс опять звучит для нас...»

Всем знакомые и любимые, они пелись с искренним чувством, и ощущением причастности тому, о чем поется. Вообще образ Советского Союза – светлый несмотря на полное понимание, что он собой представлял на самом деле, – это, во многом, именно из-за прекрасных песен, которые через мелодическую красоту и правильные слова сообщали нам возвышенные чувства и светлые эмоции. И очень важно для понимания той, ушедшей, культуры, что их можно было не только слушать в более или менее официальном исполнении, но и петь самим – в одиночку и в компании, за столом и просто так. Нынешние категорически не поются. А значит, осмелюсь предположить, не будет долгой памяти у нынешней эпохи.

И опять-таки, несмотря на полное, в том числе, профессиональное понимание нашего общего прошлого, с уверенностью говорю: мне в жизни очень повезло. Я действительно считаю свои школьные годы чудесными, люблю свою школу и многое о ней помню. Во второй половине 1990-х годов, работая в Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического образования (бывший Институт повышения квалификации учителей, бывший Университет педагогического мастерства) на кафедре под руководством Елены Эмильевны Смирновой мы провели несколько крупных и интересных по результатам исследований школьной жизни Санкт-Петербурга. Не оцененных по достоинству, потому что почти не опубликованных – трудно тогда было публиковаться. В одном из моих собственных проектов в школе, где я числилась научным руководителем (да, вот такие «лихие» 1990-е, когда в школах вспыхнуло массовое экспериментальное и исследовательское движение, да такое, что понадобились научные руководители, чтобы уж не совсем было доморощенное) – так вот, в одной из питерских школ в моем собственном проекте, направленном на организацию детского самоуправления в школе, отвечая на вопросы, заданные методом незаконченного предложения, старшеклассники сформировали такую вот смысловую оппозицию: на одном полюсе «Школа это – дом, второй дом, родной дом, процентов 16–20% таких ответов, хоть и стереотипных, но искренних (дети никогда в социсследованиях не врут), а на другом полюсе – ад, скука, дурдом, каторга, тюрьма, еще 12%.

Не могу сказать, что для меня школа была «второй дом», в каком-то смысле это было лучше, чем дом – демократичнее, веселее, а главное, важнее с точки зрения самосознания и самооценки. Школа мне их сильно поднимала и укрепляла. Меня там любили и ценили. Да и то сказать: активная пионерка, комсомолка, участница художественной самодеятельности – пела, читала стихи, играла в школьных спектаклях, но не заносилась, не «звездила». Многие всерьез считали, что дорога моя – в артистки. Я и сама так считала, но два обстоятельства развернули судьбу в другом направлении. Об этом – ниже.

В школе № 15 города Куйбышева я проучилась от первого звонка до последнего – и в символическом смысле слова, и в буквальном. Школа была на хорошем счету, туда шли учиться дети и ближайших, и отдаленных кварталов. Не исключено, что была в этом какая-то давняя традиция, потому что школа как бы наследовала знаменитой самарской женской гимназии Нины Андреевны Хардиной, чье имя она сейчас носит. В годы моей учебы мы тоже это знали, но в титуле, конечно, не имели. Зато всем был известен сопутствующий исторический факт, что в соседнем доме бывал В.И. Ленин, о чем там висела мемориальная доска.

Итак, по традиции или по стечению обстоятельств крупного промышленного города с секретным авиа- и космическим производством, в моей школе были прекрасные учителя – замечательные, яркие люди, навсегда оставшиеся в памяти. Многих могла бы перечислить по именам и рассказать разные забавные и серьезные, связанные с ними, случаи, но сейчас не буду этого делать, оставлю до мемуаров. Назову два имени: Фрида Яковлевна Либрейх и Евгения Александровна Матульская. Фрида Яковлевна – учительница математики. Почему я вспоминаю ее, хотя математика никак не была и не стала для меня чем-то путеводным? Потому что за нею чувствовалась наследственная педагогическая и учительская культура. Я бы сказала, если это можно сказать о маленькой, полненькой, кудрявой женщине, – что это была такая глыба, такая твердыня, на которой можно было строить храм школы, да простится мне здесь евангельская аналогия. Мы не были очень близки, но ее влияние я чувствовала и тогда, и теперь. Кстати, многие мои одноклассники как раз пошли по естественнонаучной и математической стезе, закончили Политехнический институт и стали специалистами как раз авиационного и космического профиля.

Тот факт, что моя мама учительница, для моей школьной жизни не играл ровно никакой роли. Только один раз, перешедшая к нам из маминой школы учительница химии среагировала на фамилию, вызвала отвечать на первом же уроке, но, поскольку у меня с химией все было в порядке, осталась довольна и больше никак не отличала меня от остальных ребят.

Главный мой педагог – Евгения Александровна Матульская, учительница русского языка и литературы с 7-го по 11-й класс. Высокая, крупная, статная и, такое впечатление, что всегда в одном и том же темном длинном платье с белым воротничком. Между собой мы звали ее, конечно, Тетя Женя. В ней все было крупное – гладко причесанная голова с гордой посадкой, руки, ноги, горбатый нос под очками, голос. Властное, мало улыбающееся лицо. Воплощенная строгость, никаких скидок никому. Но это с ней – школьный театр, серьезные роли, костюмы, взятые в драмтеатре, стихи. Она и сама читала нам на уроках совсем не предусмотренных тогда программой Есенина, Гумилева, Ахматову, Цветаеву. Так читала, что крупный нос ее краснел, очки запотевали, на глаза наворачивались слезы, мы все замирали (от Тети Жени такие эмоции сильно впечатляли), и через все это мы лучше понимали, что такое поэзия – что это «не вздохи на скамейке и не прогулки при луне», что это всегда драма.

Я у нее была не то, чтобы в любимицах (это вообще не про нее), но на примете. Часто она поручала мне на уроках читать вслух тексты изучаемых произведений, роли давала сильные, драматические – Рашель в «Вассе Железновой», Алена Дмитриевна в «Купце Калашникове», пятерка, конечно, была по русскому и литературе. Но не этим только брала, не этим, а чем-то более настоящим, и в нас хотела видеть настоящих людей, вот почему без скидок. У меня с ней было несколько воспитательных коллизий.

Вообще-то я честно не понимаю, что такое воспитание как отдельная работа или отдельная деятельность. А вот сейчас, когда мановением чьей-то методической руки (не головы, точно) мне поручен курс «Социология воспитания» в нескольких университетских группах, об этом приходится специально думать. И все равно не получается, кроме как вообразить нечто вроде советской системы воспитательных мероприятий – тематических экскурсий, встреч с вете-

ранами, пионерских сборов, «линеек», политинформаций и т.д. с моралью типа «Все будем брать пример с Маши Канарейкиной и Льва Толстого», как в фильме «Доживем до понедельника». Но ведь мероприятия это одно, а собственно воспитательный результат – это другое, и не факт, что достигали именно того, чего хотели. Может быть, по этой причине нет и сложившейся научной дисциплины «социология воспитания», ибо предмет исследования расплывается? Но учебный курс все равно, как в старом анекдоте, должен быть, тем более, в педагогическом университете. А вот в жизни воспитательные коллизии не просто встречаются, из них, собственно, и состоит педагогическое взаимодействие, причем совсем не обязательно учителя и ученика, а, как внушают мне студенты, любое взаимодействие, в том числе, друг с другом. Надо бы к ним прислушаться.

Так вот, мои воспитательные коллизии с Тетей Женей, точнее, у нее со мной. Их было несколько, по сути касавшихся таких фундаментальных для личности опор, как человеческое лицо и человеческое достоинство, уважение и самоуважение, долг, умственная дисциплина. Слов таких, разумеется, не проносилось, смысл происходившего стал мне понятен много позже, и, может быть, только сейчас я готова сказать, что вот это и было воспитанием. Расскажу один случай. Восьмой класс, «Евгений Онегин», сочинение. Вместо стандартной темы «Онегин – “лишний человек”», такое идеологическое, революционно-демократическое понимание героя, Тетя Женя задает другую. Точно не помню, но что-то вроде «Мое отношение к Онегину». Чуть-чуть поворот от наезженной колеи, проложенной миллионами школьников до тебя и, как выясняется, после тебя. С изумлением узнала, что сочинения на эту тему в школах пишут до сих пор: в Яндексе 364 000 ответов на эти ключевые слова! И вот я отчетливо помню свои ощущения при необходимости сделать что-то за рамками простого пересказа учебника. Это было нежелание напрягаться, нежелание заставить мозг работать в непривычном направлении. Сегодня я знаю, что для производства на свет мысли требуется не просто интеллектуальное, но именно личностное усилие, преодолевающее стремление мозга сохранять состояние покоя, а тогда – вот только это: нежелание напрягаться. Ну, и написала всё того же «лишнего человека». Результат шоковый, потому что никогда раньше! – это у меня-то, которую без конца вызывали к доске зачитывать свои сочинения! – жирнящая двойка и обоснование: «Сочинение не на тему». Запомнила на всю жизнь и с тех пор беспощадно борюсь с соблазнами умственной лени. Более того, теперь в моем миропонимании этот урок существует рядом с императивом интеллектуальной честности Карла Поппера. И это, несомненно, явление воспитания, где рядом с Карлом Поппером – Евгения Александровна Матульская.

Что еще рассказать о школе? Доля прожитых в ней лет численно уменьшается – половина, треть, четверть, сейчас одна шестая (или уже седьмая? – ужас-то какой!) – а значение их не снижается, и, может быть, даже растет. Потому что школа – это прежде всего класс, друзья, подруги, дружба, любовь. Никуда не денешься, никакой оригинальности здесь нет, это классика, в том числе, по исследовательским данным. В начале учебы, в первом классе, нас было больше 40 человек, к окончанию 11-го осталось 27, и треть из нас закончили школу с золотыми и серебряными медалями. Это тоже к тому, какие были учителя.

Кто-то уходил из класса, кто-то приходил, но сохранялось ядро – бóльшая часть моих одноклассников и кое-кто из параллельных, составляли плотную, дружную компанию.

По способу существования наша ядерная группа представляла собой непрерывную, по-научному сказать, коммуникацию, а по-простому, тусовку, когда в каждый момент времени ты знаешь, где кто находится и что делает (в наши дни надо добавить – при отсутствии мобильных телефонов!); можно было в любое время собраться и что-то затеять, куда-то поехать, просто пройтись по набережной Волги, что класса с 9-го мы делали чуть ли не каждый вечер. И прогуливающиеся граждане знали: 9-«А» идет, потом 10-й... Эта тусовка – как еще одна колыбель, в которой «вынынчивается», вырабатывается человеческая личность и индивидуальность. Среди нас случались и любви, очень сильные, на всю жизнь, но на пары мы никогда не разбивались, и семей из этих любовей не состоялось. Этим моим детским друзьям, от которых я после школы уехала, я очень люблю и до сих пор ощущаю как часть себя. Встречаясь, мы начинаем общаться, как будто расстались всего несколько часов назад.

Две мои ближайшие подруги уехали из России. Одна в Америку, и Америка подарила ей ещё десять лет жизни к отпущенным природой, вторая – раньше многих почувствовав опасность жизни в стране, в Москве, и, как она говорила, спасая детей, – в Австралию. Обоих уже нет, но они все равно со мной. Третья подружка по-прежнему живет в Самаре, всё у нее хорошо. И вот она, с которой мы через много лет жизни в разных городах однажды явились на встречу друзей чуть ли не в одинаковых, очень похожих по стилю, платьях, с которой, не сговариваясь, могли начать петь одну и ту же песню с одной и той же ноты, – теперь она сильно переживает за оставшихся на Украине родственников, но верит всему, что несет с экрана телевизора. Я не могу вторгаться в атмосферу ее семьи и идейно отрывать от пожилой мамы, мужа и сына, но, зная, что она заглядывает на мою страничку Фейсбука, кое-что пишу там и публикую в расчете на то, что она прочтет. Знаю, что читает. Но, так же не вступая в спор, «постит» там почти исключительно кулинарные рецепты, да отзывается на фотографии кота Ёжика. Вот так и общаемся. И это очень и очень печально.

Еще кое-что о Кубышеве и школе. О еврействе. В Куйбышеве было много евреев. Во дворе моего дома жили две еврейские семьи, одна – бедная, многодетная, в подвале, другая состоятельная – в «переднем доме», бывшем доме купца Акима Жоголева. У них еще была черная овчарка Гаяр. И у нас в школе евреев было немало – и учеников, и учителей. В классе, думаю, что до трети, разного уровня достатка и успешности в учебе. Но это я теперь понимаю! – а тогда совершенно отсутствовало само это обозначение, по национальности, не говоря уже о «национальном вопроса», которого не было и в помине. Такой заповедник, особенно на фоне послевоенной антисемитской кампании. Потому что провинция, а не столица? Потому что врачи и учителя, а не писатели и ученые? Или потому что их просто много, а против большой доли населения кампанию не раскрутишь? Не знаю, честно, никогда об этом не думала. Сейчас многие уехали, конечно. По Петербургу чувствую, насколько много. Вернее, по сравнению Петербурга с Литвой. Оказалась в Литве два года назад и поняла, что просто вижу характерные лица, а Питере их практически нет.

Что ж, пора заканчивать эту часть интервью. Поэтому еще одна история про школу, имеющая отношение уже к следующему жизненному периоду.

В 11-м классе к нам пришел новый учитель истории, Феликс Яковлевич Гуревич – молодой красавец с пышной шевелюрой, горящими глазами и необыкновенным педагогическим талантом. Напрашивается сказать, что девчонки в него влюбились – но нет, это было что-то другое. С ним и история стала самым интересным предметом, и отношения сложились просто невероятные для школы. Во-первых, он обращался к нам на «Вы», говорил, что в 11-м классе мы почти уже студенты, приглашал к себе домой, где мы пели с ним под его гитару и пили вино (белое, легкое, вкусное, не портвейн какой-нибудь, который мы пили сами по себе). И вот, уже после выпускных экзаменов, я гордо сообщила ему, что решила поступать «на историю». А в ответ услышала: «Ну и дура» (в смысле, надо было в театральный институт) – такая вот педагогика замечательная. Не шучу, действительно замечательная, потому что здесь всё – и свойскость, из-за которой суждение принимается как истина, и оценка тех моих способностей, которые я сама для себя считала главными, что тоже было очень приятно. А вот и еще невероятный факт: Феликс Яковлевич до сих пор работает учителем истории в каком-то колледже. Изменения в нем коснулись, кажется, только шевелюры. Малюсенькая фотография показывает нам седоватого и лысоватого человека. Но разве это важно, если до сих пор девчонки пишут о нем восторженные сетевые сообщения? Откуда я это знаю? Велик Интернет, хвала ему!

В моем решении идти учиться истории, а не в артистки, сыграла судьбоносную роль мама. Она и слышать не хотела ни о какой Москве с ее театральными перспективами! В результате просто заперла меня дома на ключ, пошла и своими руками купила билет в Новосибирск, потому что так ей казалось безопаснее для девочки, пускающей в автономное плавание. Дело в том, что годом раньше в Новосибирск, в университет, в знаменитый тогда Академгородок, уехал учиться мой приятель, сын маминой подруги, и от него весь год шли письма о том, как там хорошо. Думаю, что были у мамы и брачно-семейные планы в отношении нас обоих, но здесь дело повернулось по-другому. Итак, престиж Академгородка и перспектива учиться не в пединституте города Куйбышева, а в университете в научном центре перевесили мечты об актерской карьере. Закончила я школу с Золотой медалью и поехала одна, сама, в неизвестность, в Новосибирск. Провожали меня всем классом.

И вот еще что: наверное, в этом решении была своя истина, которая подспудно тоже как-то проросла. Однажды мы с подружками играли в судьбу, писали друг другу всякие гадания-пожелания. И вот совершенно неожиданно моя ближайшая, любимая подружка Люся пророчит мне что-то совершенно несуразное: «философский техникум». Ну, техникум, я думаю, перекочевал сюда из местного самарского мема «мукомольный техникум», которым страшали нерадивых учеников – но откуда философский, когда мы и слова-то такого толком не знали? Может, я так усиленно и выразительно думала, что это стало заметно? Но я за собой этого не помню, хоть убей.

Оля, спасибо, так полно и живо, что все вижу... хотелось лишь узнать, что читало в Куйбышеве Ваше поколение?

Коротко говоря, читали все подряд, кроме газеты «Правда» и вообще газет. Журнал «Юность» очень даже читали, «Новый мир», когда удавалось достать или получить на время. Однако, по порядку.

Читать было одной из самых существенных сторон образа жизни вообще. На вопросы о любимом занятии честно и убежденно отвечали: «читать». Вот только не припомню, кто задавал такие вопросы в отсутствие социологов. Наверное, какие-то полуразвлекательные странички как раз в детских или юношеских журналах.

Более или менее читали литературу по школьной программе. Где-то классе в 10-м Евгения Александровна, рассказ о которой был выше по тексту, задала тему домашнего сочинения, связанную со всем школьным курсом литературы. Точную формулировку не помню, но, следуя ей, пришлось написать нечто вроде очерка или рецензии на весь пройденный курс. Выяснилось, что ко всем великим, составившим этот компендиум, так или иначе сложилось определенное отношение, о каждом удалось сказать что-то личное. Выразив особые восторги А.Пушкину (абсолютно искренние, не дежурные) и В.Маяковскому, отказала в них, например, М.Лермонтову, чей демонизм и пафос оказались мне не близки. А Пушкин и Маяковский парадоксально близки, понятны, в том числе, эстетически, хотя один из них, как известно, предлагал сбросить другого «с корабля современности».

Лермонтова, тем не менее, читала со сцены, точнее, играла в инсценировке «Песни о купце Калашникове» Алену Дмитриевну. Не стану утверждать, что были нами полностью поняты драма опозоренной жены и смертного боя Степана Калашникова за свое человеческое достоинство, и тем более, метафора царского всевластия и вседозволенности царской челяди, но страсти со школьной сцены звучали неслабые. Хотя все эти «Ой ты, гой еси, царь Иван Васильевич» уже тогда казались очень искусственными. А соображение, что это, возможно, парафраз гибели А.Пушкина пришло вообще только вот прямо сейчас, под умудренным, так сказать, пером. Впрочем, сюжет более чем архетипический. Вот, оказывается, зачем нужны мемуары – для демонстрации благоприобретенной мудрости!

Тогда же поймала себя на том, что не восхищаюсь Л. Толстым, или даже откровенно его не люблю. За Анну Каренину не люблю, бросившую маленького сына ради... – ради кого? – слово «любовник» было стыдным и, строго говоря, непонятным, а что такое любовь – такая, чтобы бросить сына – я и сейчас не понимаю. Особенно же не люблю Л.Толстого за его настойчивое морализаторство, за его педагогику, как в рассказе про Ваню и сливу: «Все засмеялись, а Ваня заплакал».

Это я сейчас понимаю, что надо различать разные планы повествования – персонажа и автора, текста и контекстов, и многое другое, что характеризует грамотного читателя – но подросткам такая рефлексия, видимо, не свойственна, а в школе этому не очень-то учат. Особенно в советской школе, где литература была вспомогательной дисциплиной для истории и нередко служила воспитанию классового, идеологического мировоззрения. В этом смысле спасибо Тёте Жене, что опиралась в литературе на человеческое, а не на литературоведческое и идеологическое.

Возвращаясь к педагогике Л. Толстого: казалось бы, любую педагогику как любое давление на личность подросток должен отвергать. И вот Толстого отвергала, а А. С. Макаренко – нет. «Педагогическую поэму» читала множество раз, очень переживала и за героев, и за автора, книжка была у нас дома. Может быть, потому, что это были уже «свои», советские люди с трудными судьбами? Но уж точно не потому, что хотела стать учителем, вот уж нет. Наоборот! Глядя на маму, активно этого не хотела. Но стала. Не учителем, так преподавателем. И не то чтобы полюбила это дело, но поняла, что получается, и очень этому рада.

В общем, чтение было, пожалуй, главным занятием на досуге, а библиотека – важной деталью образа жизни. Я была записана в две или даже три библиотеки – районную, городскую и, кажется, в Доме учителя. Помню, какое впечатление произвела «реформа» пользования библиотеками, когда в них стал возможен свободный доступ к полкам. Около них можно было провести много часов, выбирая книги по вкусу и по настроению. Для домашнего чтения можно было взять сразу несколько книг, и вот, интересно, что структура этого набора была вполне определенной: что-то серьезное, что-то полегче, «жизненное», и обязательно что-то развлекательное, «на сладкое» – журналы о кино, о моде, такой тогдашний гламур. Ну, в общем, как столовский обед – «первое», «второе» и «третье».

Обозначу коротко круг этого библиотечного чтения. Прежде всего, немало книг о войне. Читала и перечитывала «Сильные духом» и «Партизан Лёня Голиков», в том числе, вслух, в пионерлагере для отряда. Книжку о военных летчиках (и вот, стыдно, не могу вспомнить названия той, из-за которой сама хотела летчиком стать). А дальше – Т. Майн Рид, Ф. Купер, Р. Л. Стивенсон, А. Конан-Дойль, Этель Л. Войнич, то есть «Овод» (о, как я рыдала в момент казни!); а из отечественных – А. Толстой («Аэлита», хотя и «Хождение по мукам» тоже), А. Беляев («Звезда КЭЦ», «Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля»), Иван Ефремов, конечно, («Час быка», «Лезвие бритвы», «Туманность Андромеды»), весь А. Гайдар, В. Катаев, позже В. Аксенов, Д. Гранин, Ч. Айтматов, Ю. Герман, Б. Балтер в «Юности» («До свидания, мальчики»).

Ну, то есть военная и революционная романтика, приключения, фантастика, детективы – иными словами, интеллектуальные открытия, пища для ума и души. Тут же рядом надо помнить, что еще, конечно, кино и бардовская песня. У кого-то прочитала, что Советский Союз был силен тем, что в нем говорили «правильные слова», то есть существовало сильное языковое подкрепление идеям и ценностям. Круг чтения, «смотрения» и пения формировал картину мира с высокими идеалами. С этих вершин то припочвенное, что произрастало в реальности – идеологическое лицемерие, бедность, неустроенность, неспособность экономики прокормить страну, тотальный дефицит – хотя виделось и понималось, но казалось не главным. Однако пребывание в башне из слоновой кости великих символов вечным быть не может, в конце концов сносит эту башню, и тогда до правильных слов нужно еще очень долго катить в гору Сизифов камень – с его усердием и с его же результатами.

Хорошими книжками мы менялись, потом обсуждали их, как правило, в дружеском кругу, но бывало, что и в школе. Так, школьного диспута заслужила «Республика ШКИД» Г. Белых и Л. Пантелеева. Мудрая Тётя Женя поручила главный доклад мальчику, лишь недавно появившемуся у нас в 8-м классе из-за

того, что остался в нем на второй год. Ну, представляете себе его мироощущение – чужой, непризнанный, униженный, забившийся в угол, настороженный человек. Но сильный человек, быстро ставший нам любимым другом на долгие годы и до сего дня. И вот он явился на диспут в костюме, в галстук «бабочкой», был серьезен, убедителен и, я бы сказала, романтичен, чем мгновенно расположил к себе и ребят, и учителей.

У девочек на вершине успеха были «Дорога уходит вдаль» Александры Бруштейн и «Дикая собака Динго» Рувима Фраермана. В обеих книжках главные героини – наши сверстницы, только одна растет в счастливой семье, вторая – не очень. У одной жизнь полна чудесных, важных подробностей, серьезных и забавных сюжетов, переливается событиями и персонажами, как в калейдоскопе (про мальчиков такое же семейное чудо написал Лев Кассиль в «Кондуите и Швамбрании»), у другой девочки, в отличие от первых двух книжек, – современная нам, уже советская жизнь, более скупая на детали и подробности, при этом внутренне напряженная и драматичная. Ну, то есть, в центре заинтересованного чтения – детство и юность в разные времена и при разных обстоятельствах, и, конечно, они интересны, близки и важны из-за самого процесса взросления, самоопределения, поисков себя, складывания собственной идентичности.

И тут уж обязательно «про любовь». Любовь Анны Карениной отвергнута, любовь Г. Мопассана (да-да, «Милый друг») – не понята и не принята, не задела и не заинтересовала. Напротив, Р. Нойберт и до сих пор бесконечно издаваемая «Новая книга о супружестве», такая ГДР-овская назидательно-медицинская и несколько технологическая книга «про это» пришлась очень даже кстати, передавалась по рукам и «обшущукивалась» по углам. Но «про это» – это ведь не про любовь. А про любовь – все-таки «Дикая собака Динго». Сочувствуешь, сопереживаешь, и те пельмени на крылечке пополам со слезами вместе с девочкой Таней ешь.

И вот только сейчас поняла, что во всех трех, ярче всего вспомнившихся книгах – «Дорога уходит вдаль», «Кондуит» и «Дикая собака Динго» – есть один объединяющий персонаж. Это отец – благородный, сильный, любящий, защита и опора, друг и наставник на пути во взрослую жизнь. От того ли, что в моей жизни его можно было только вообразить и присовокупить к полусказочной младенческой памяти, от того ли, что в послевоенное время литература так откликнулась на массовую безотцовщину, но это «свято место» не осталось пусто. Однако не стану выводить гипотезу на общественный уровень, где «отец народам» был обеспечен. Детям нужно было другое. И оно было создано.

Приехали Вы в Новосибирск, и что? На какой факультет Вы все же поступили: исторический или философский? Как начиналась самостоятельная студенческая жизнь?

Новосибирск, Академгородок. Начало. Позвольте сперва небольшую справку. Университет закладывался в структуру Сибирского отделения Академии наук СССР как необходимый элемент для обеспечения науки кадрами, и первые несколько лет, даже, пожалуй, десятилетий, связь учебы с реальной наукой была тесной и совершенно естественной. Преподавали в университете сами научные сотрудники, а студенты включались в работу институтов. Однако, тем самым

создавалась закрытая система, и теперь, когда Академгородку почти 60 лет, он испытывает довольно серьезные социальные проблемы, и это заставляет его меняться. Что-то в этих изменениях способствует развитию науки, а что-то – нет.

В том, что касается университета, это, конечно, уверенное развитие. Поначалу он планировался как сугубо естественнонаучный, но для того, чтобы с полным правом называться университетом, через несколько лет после открытия в нем были учреждены численно очень маленькие, всего человек по 25 студентов на курсе, отделения истории, филологии и экономической кибернетики, вместе составившие Гуманитарный факультет (Гумфак). Он и сейчас так называется, и служит рассадником все новых общественно-гуманитарных специальностей. Работают отделения истории и археологии, востоковедения, филологии, фундаментальной и прикладной лингвистики. И он по-прежнему время от времени «отпускает» от себя подразделения, становящиеся самостоятельными факультетами – первым, еще при нас, был факультет экономики, потом философии, иностранных языков, журналистики и т.д.

И вот университет возник в моей жизни. Само это слово возвышалось. А то, что он находится в Академгородке, таком научном Городе Солнца, где живут одни ученые, а сам он состоит исключительно из научных институтов и стоит посреди леса, вдалеке от большого города Новосибирска, – создавало невероятно романтический и утопический образ, наполняло гордостью осознания, что ты будешь там учиться.

Сами жители или «населенники» этого научного монастыря между собой называли его просто Академ или Городок, но новосибирцы произносили АкадЭмия, и в этом различающемся нарративе уже было много символически значимого: демократичная «свойскость» и простота в первом случае, и определенно уважительное, но все же отчужденное во втором, а бородатые люди в свитерах а'la Э.Хемингуэй, в одном мире, и серьезно-напряженные граждане в драповых пальто в другом, визуально дополняли эту культурантропологию. А поскольку Академгородок не был закрытым городом, то жители Новосибирска там появлялись и легко узнавались на фоне молодого и молодежавшего, а главное, эмоционально и энергетически заряженного настроения и какой-то очень явной «организованной» радости. Честное слово, даже по пластике, по походке можно было понять, свой здесь человек или пришлый – так мы все там были счастливы.

Еще мы знали, что там снимались несколько эпизодов знаменитого фильма «Девять дней одного года», о советских физиках-ядерщиках, и такой он был теплый, такой человечный, этот фильм, и вместе с тем такой космический по устремлениям (что ж, это время советского космоса, 1950–60-е годы!), что все это производило грандиозное впечатление, обещание новой большой жизни и казалось открытым окном в целый мир разных возможностей. «Улитку на склоне» Аркадия и Бориса Стругацких мы тогда еще не читали, но теперь понятно, что сопоставление Института и Леса навеяно не в последнюю очередь Академгородком, и проблемы самого Городка, Академии, а также познания как «езды в неизвестное» поставлены ими пророчески под его влиянием. Даже аббревиатура СОАН (вообще-то просто Сибирское отделение Академии наук) мелькает в их романах, кажется, в «Трудно быть богом», в качестве названия одного

из княжеств или городов. И вот здесь мне предстояло учиться, на Гуманитарном факультете, его все-таки историческом отделении, привет Феликсу Яковлевичу и его «дуре».

Выяснилось, что это, прежде всего, трудно. Совсем не так, как в школе, где мне удавалось учиться, совершенно не прилагая к этому никаких особых усилий. Все получалось само собой. Теперь требовались другие способности – понимать более сложные тексты, устные и письменные, причем часто совсем не интересные. До такой степени трудно, что время от времени сам собой отключался мозг. Все, наверное, видели, что студенты иногда засыпают на лекциях, и чаще всего первокурсники, потом это проходит. Я думаю это не от того, что они всю ночь танцевали, играли в карты или еще чем увлекательным занимались, а оттого, что мозг отказывается воспринимать что-то чрезмерно для него новое и поэтому трудное. Даже интересный рассказ преподавателя не всегда может с этим справиться. И вообще все 90 минут лекции неотрывно следить за содержанием тоже невозможно, поэтому так называемая невнимательность (у детей СДВ – синдром дефицита внимания) – тоже вполне обычная вещь. Идет испытание на способность адаптироваться к сложности, такая мозговая инициация: выживешь – будешь учиться, не получится – гуд бай.

Впрочем, как и в школе, наличие или отсутствие интереса было тесно связано с личностью преподавателя. Хороших, прекрасных, даже великих, и любимых было больше. Но были и Дуб Дубычи, как без них? Удивительно, что студенты, люди молодые, только пришедшие учиться, очень быстро и вполне адекватно понимали, кто есть кто. И это тоже непонятно: как, на основе чего это происходит? Тоже адресуюсь с этим вопросом к мозгу. Думаю, при всем первоначальном неведении молодые мозги просто улавливают, как радиоволны, существенные смыслы там, где они есть, и фиксируют пустоту, там, где их нет. То есть это, до некоторой степени, функция не мышления, толком еще не сформированного, а лишь способности к мышлению, потенциально присутствующей в нейробиологической структуре мозга. Простите мне это ненаучное суждение, потому что, правда, совсем неясно, каким образом неофиты вообще что-то понимают, как происходит рецепция нового и сложного неподготовленным агентом на базе имеющегося, всегда недостаточного, опыта.

Но как-то с нашими мозгами наши преподаватели справлялись Им, ныне живущим, сейчас хорошо за 80, а тогда было всего по 35–37!

Осенью 2012 года Гумфак праздновал 50-летие, и по этому случаю я провела довольно большой и содержательно глубокий письменный опрос выпускников разных лет (E-mail'ом). Сама, одна, целый год этим занималась, потом сделала доклад на юбилейной сессии, слетав в Городок на три дня, позже опубликовала большую статью. Были в анкете вопросы о преподавателях. Просила назвать любимых, запомнившихся учителей, оценить их педагогические качества, сегодняшнее к ним отношение и т.д. В результате составились несколько списков, фактически рейтинги из нескольких десятков имен, где за первыми поколениями преподавателей волнами появлялись следующие поколения, и волны эти шли вплоть до последних дней.

Наряду с этим, главным, выявилось одно второстепенное, но систематическое отличие: полностью, с именем-отчеством и фамилией, называют своих педагогов, главным образом, выпускники-историки первых десятилетий (1960–

80-е годы) и филологи всех лет существования факультета. Почти не называют по имени-отчеству, а только по фамилии, преподавателей младших поколений, причем совсем не сильны в этом выпускники последних десяти-пятнадцати лет. Ну, может, мода такая, сложившаяся в т.ч. под влиянием виртуального Интернет-общения. Однако думаю, что мода эта указывает и на ослабленную межперсональную коммуникацию. Ведь если существует тесное общение, то люди как-то друг к другу обращаются, и младший к старшему обращается вежливо, соблюдая определенную дистанцию и ритуалы даже в случае налаженных контактов. А тут что?

Сама недавно вынуждена была сделать выговор хорошему, сильному студенту, который в почтовой переписке вообще не применял никаких обращений, не здоровался и не прощался, да и тон его был неприятным: равнодушно-деловым и статусно равновеликим, если не высокомерным. Неприятным или недопустимым? Даже готова сказать, неуважительным, если под поведенческим рисунком уважения понимать несколько склоненную голову и признание наклонной плоскости контакта с возвышением на моем краю. Переживаю. Не понимаю, как правильно. Уже не понимаю, как правильно в наше время. Пришлось его осадить, хотя собиралась честно помочь в его личном проекте, и несмотря на случившееся не отказывала ему в этом. И вот, думаю: может, была неправа, и плоскость контакта нужно выравнивать? На занятиях в его группе атмосфера была вполне дружеская и свободная, в том числе, с моей стороны. Так, может, сама дезориентировала?

А вот в новосибирском проекте открылся потрясающий факт, и я не знаю, существуют ли для него аналоги: определились имена, которые присутствовали в списке, то есть в памяти студентов, на протяжении всех 50-ти лет. Хочу, чтобы и здесь были названы вершины этих списков, но сначала – человек вне разрядов, вне времени, с наивысшим почитанием называемый и историками, и филологами Гумфака: Михаил Иосифович Рижский. Великий Папа Рижский, только на одну букву не Папа Римский. Итак, вершина горы – патриархи. Для моего времени это Николай Николаевич Покровский (позже академик), Лев Фадеевич Лисс, Варлен Львович Соскин, Нина Викторовна Ревякина, Марина Михайловна Громыко, Леонид Михайлович Горюшкин, Наль Александрович Хохлов, Борис Павлович Орлов. О них в материалах исследования – самые восторженные слова: яркие личности, преподаватели-титаны, нетривиальная заинтересованность в своей науке и в учебном материале и т.д.

Забавно, что многие из отвечавших до сих пор, вспоминая учителей, чувствуют себя учениками и хотят получить оценку, желательно хорошую. В анкете был вопрос: «О чем Вы сегодня хотите спросить Ваших учителей?» В основном (на две трети) хотят спросить о здоровье, самочувствии, не нужна ли помощь, но треть ответов – от тех, кто хотел бы спросить... о себе:

Вы меня помните? – Вы нас простили? – Довольны ли вы нами? – Не подвели ли мы вас? – Было ли вам интересно с нами? – Чем мы отличались от нынешних студентов? – Вы чувствовали, что рядом с вами были творческие личности? И довольно ревниво: – Как вы считаете, какие студенты интересней, первых лет или нынешние?

Между прочим, на 1-м курсе одно время у нас преподавал Владимир Эммануилович Шляпентох, а с его сыном Митей мы некоторое время учились в одной группе, и у нас были очень хорошие приятельские отношения. То есть первая инъекция социологического была сделана уже на 1-м курсе, прошла почти бесследно, бессознательно, но не исключено, что как-то повлияла и на мое последующее отклонение от истории в сторону социологии. Да и личность В.Э. была уж больно яркая!

Да. Ну, вот. Перефразируя классика, можем сказать: рассказывать о себе легко и приятно, особенно если рассказываешь только хорошее. Но чем дальше, тем больше понимаешь, что поставленная перед этим интервью задачка – ой, неслабая. Ведь вот теперь нужно рассказать чуть ли не самый насыщенный событиями отрезок жизни. Потом она более или менее стабилизируется, рутинизируется, а в студенчестве все – новое.

Как раз на днях вспоминали с мужем (Саша Марголис, мы вместе учились), как моя тетушка, жившая тогда в Душанбе и занимавшаяся пчеловодством, прислала деточкам посылку с медом, протертой черной смородиной (совершенно натуральный вкус!) и спиртом. Чего ради спирт – ума не приложу, но все пошло в дело. Нашему 2-хлетнему тогда сыну кто-то подарил детский электрический миксер. Детский, но миксер, вполне работоспособный. И дальше, Вы же понимаете полный технологический процесс: с помощью этого миксера попробовали все сочетания: спирт с медом, спирт с черной смородиной, спирт с медом и черной смородиной вместе и т.д. Было нас человек пять, лучших друзей, дело происходило в день зачёта по педагогике, на который мы честно и пошли после этой экспериментальной работы. Что интересно – с успехом сдали.

В общем, сейчас только перечислю, о чем в принципе можно рассказать, а потом выберу, что написать подробнее, и Вы, Борис, подскажете:

1. Колхоз и картошка. Со «Старкой», разумеется.
2. Любовь, свиданья на Оби («Хороши вечера на Оби, ты мой миленький мне...» что – позвони? – нет, конечно, – «пособи»! – «... научись на гармошке играть». Советские эвфемизмы и культурные «инфантилизмы». Это я, конечно, написать не смогу, здесь нужны исследования и, наверное, они есть.
3. На занятия в учебный корпус – через лес. Зимой мороз 30–40 градусов, ресницы на морозе белые и пушистые, как елочные ветки, но красить нельзя, ибо в тепле текут черными ручьями.
4. Да. Любовь, замужество, ребенок в студенческой семье.
5. Экспедиция с Н. Н. Покровским в Туву за старопечатными книгами.
6. Кризисы 2-го и 3-го курсов в структуре учебного цикла в вузе. Но тем не менее здесь идет собственно образование, а с 4-го курса – настоящая учеба. Парадоксальный порядок? Но думаю, что так, потому что на 4 курсе начинается осмысленная самостоятельная работа, появляются реальные цели, интерес не к изучаемому материалу, а к результатам собственных изысканий и исследований.

7. Возможности университета в конце 1960 – начале 1970-х годов. Фундаментальная библиотека (ГПНТБ) – в городе, туда надо ездить 40 км. в любую погоду, и в то же время – знаменитые ученые как приглашенные профессора, и всем курсом (!) на архивную практику в Москву.

8. Карнавалы!

9. Политические эксцессы. Начиная с фестиваля бардов (среди других был А.Галич) – граффити 1968 года против суда над диссидентами и ввода советских войск в Прагу, студенческие выступления против переезда Гумфака в Красноярск, спектакль студенческого театра «Рыжее и серое», и в результате отбытие мужа после окончания университета не в Шушенское на работу в музей В.И.Ленина, а сначала в деревню учителем, а потом всем семейством в Ленинград.

10. Вопрос о будущей работе, о профессии: «Ну, вот, учусь. А что значит работать с этим образованием? Делать-то я что буду?»

11. Социологическая линия в учебной программе и в начале исследовательского опыта.

12. Диплом историко-социологический.

13. Из юбилейного доклада 2012 года: «Десять слов о чувствах».

Ну и? Напишу об экспедиции, тем более, что это было после 1-го курса, то есть относится к теме «Университет. Начало».

Эта экспедиция была (и остается), пожалуй, самым невероятным приключением в моей жизни. Собственно, приключением единственным – ничто с нею сравниться уже не может.

Николай Николаевич Покровский, тогда молодой человек 36-лет, историк, пострадавший по «университетскому делу» Ренделя-Краснопевцева конца 1950-х годов, отсидевший несколько лет в Дубровлаге и лишенный права проживать в Москве, в Академгородке нашел свое уникальное место в исторической науке и завершил жизнь в 2013 году, в возрасте 83 лет, действительным членом Российской Академии наук. Нам он читал историю и культуру Древней Руси. Был замечательным лектором и потрясающе интересным рассказчиком, чем увлек многих, пусть и на время, как в моем случае, в область именно древней истории России. В конце 1-го курса он набирал студентов в экспедицию за старопечатными староверческими книгами в Туву, где в верховьях Енисея сохранились и мирские старообрядческие села часовенного согласия, и, что самое потрясающее, скиты. Это была его вторая туда экспедиция, по ранее проложенной дорожке и уже при минимально налаженном контакте с местным населением и настоятелями общины.

Группа состояла всего из пяти человек: Н.Н. с женой, Зоей Васильевной, и трое студентов: мои однокурсники – Саша Марголис и Гена Енин, да вот, еще я. У Н.Н. было несколько фундаментальных целей: он искал тайный скрипторий – мастерскую, где еще писали и создавали староверческие книги, и надеялся обменять несколько хороших дореволюционных печатных изданий на рукописные раритеты для их дальнейшего хранения и изучения. Мы же фактически на практике изучали часть той самой истории, а кроме того, помогали в фиксации

наблюдений и, надо сказать, достаточно убедительно отыгрывали «легенду» группы – «искатели истины». Дорога: большим самолетом до Кызыла, маленьким самолетом в районный центр, оттуда на перекладных в небольшое мирское село староверов и дальше – через тайгу пешком в потаенные места монашеских поселений. В тайге два мощных впечатления: склоны холмов, красные от земляники, и тучи мошки, которую можно было, взмахнув рукой, набрать целую горсть. Если бы не жуткая отравка, которой мы намазывались с ног до головы, не прожить бы там было и часа. Но главное это, конечно, сам Енисей, его фантастическая мощь и красота всего вмещающего его мира. Кажется, именно тогда я, полностью городской человек, впервые ощутила, что такое, на самом деле, Природа в ее собственном существовании, не предполагающем человека, в отсутствие человека, в том, что Пушкин назвал «равнодушная природа», когда она сама по себе, сама себе причина и, вот именно, «красою гордою сияет» не для человеческого, а, может быть, только божественного взора. А может, и вообще просто так.

К поездке и походу мы, конечно, готовились – учились читать тексты, написанные полууставом (рукописный шрифт XV века), слушали рассказы Николая Николаевича, раскрыв рты, глаза и уши, забывая обо всем. Не могу сказать, что все это практически пригодилось, но для того, чтобы понимать происходящее на наших глазах, чтобы не подвести учителя и сыграть роль юношей, ищущих истину, оказалось достаточно. Мне бы очень хотелось рассказать об этом путешествии максимально подробно, потому что все это необычайно и незабываемо, но это был бы рассказ размером в книгу, а не в интервью. Кроме того, такая книга есть, она написана самим Николаем Николаевичем, уже выдержала три издания и существует в Интернете, так что отсылаю интересующихся к ней. Поверьте, это очень и очень интересно:

Покровский, Н. Н. «Путешествие за редкими книгами», Изд. 3-е, дополненное и доработанное. Новосибирск: «Сова», 2005. – 339 стр. // <http://history.nsc.ru/publ/1pdf%20%281-120%29.pdf>

То, что я могу к этому добавить постфактум – это нечто социологическое. Для меня экспедиция стала уникальным опытом полевой работы – этнографической, культур-антропологической, социологической, выполненной в формате включенного наблюдения, где объектом исследования был редчайший и крайне мало доступный изучению феномен фактически культурного резервата с перспективой если не полного исчезновения, то существенного размывания. Я все очень хорошо помню, могу еще, поговорив с одним из тогдашних попутчиков, а ныне собственным мужем А. Марголисом, восстановить какие-то детали и написать то, что Николай Николаевич оставил за рамками своего внимания. Вот выйду окончательно на пенсию – и займусь этим. А пока текущей работы – ужас, сколько, а я ее все откладываю и откладываю, потому что уже больно приятно тут вот сидеть и писать то, что легко, а надо писать то, что трудно – новый курс, который никогда не читала, но придется, ибо висит над головой Дамоклов меч – так называемая «оптимизация», что в переводе на современный русский язык означает вероятность сокращения кадров или, как минимум, перевод на сокращенную ставку. Таковы контексты. Что ж! Если это случится – вот тогда, как в старом детском анекдоте, мы и покрутим швейную машинку!

Не будем торопиться со швейной машинкой... а вот то, что касается кризиса учебы на 2–3 курсах и перехода к настоящей самостоятельной работе на 4-ом курсе, то хотелось бы узнать поподробнее.

Не могу сказать, что кризис 2–3-го курсов в пятилетнем (тогда) учебном цикле высшего образования был когда-либо специальным предметом изучения в проектах, где я участвовала, но некоторое спонтанное наблюдение, как бы на втором плане внимания, определенно, шло и сопутствовало основным целям. Сама специально об этом не писала, кроме одного отчета по проекту, который мы делали с Андреем Вейхером в ЛИЭИ (Ленинградском инженерно-экономическом институте им. П. Тольятти) где-то в конце 1980-х годов. Тот проект был замечателен тем, что там часто звучало имя А. Б. Чубайса. Анатолий Борисович сначала учился в ЛИЭИ, потом там работал и обладал среди коллектива большим авторитетом. Чуть что, из того, о чем мы хотели узнать в связи с проектом, как нас посылали к нему: «Ну, это вам надо к Чубайсу». Им тогда явно гордились в институте.

В моем случае кризис 3-го курса выглядел так. Свою основную «профориентацию» (в артистки!) я в угоду разным соображениям и давлению все-таки сломала, а вместо нее начала строить другую. Нет, не строить, а просто плыть по течению той реки, в которую вошла, позволяя ей нести себя туда, куда она текла. Это ведь разные вещи: представлять себя в каком-то образе, идентифицироваться с ним – и просто чем-то интересоваться. В данном случае, историей. К тому же выяснилось, что этого интереса хватило ненадолго. Однако первый курс прошел вполне благополучно, было именно что интересно. А как может быть неинтересной история Древнего мира – археология, Египет, античность, славяне, Киевская Русь. Все это было захлеб, как праздник, как непрерывное кино, и были, как я уже писала, замечательные, яркие педагоги, а к концу 1-го курса уже и та потрясающая экспедиция в Туву, на Енисей, к старообрядцам, за редкими книгами. И было долгое переживание триумфа от поступления в университет, эйфории свободы, новой дружбы, любви, и опять свободы – того, что очень точно называют «щенячьим восторгом».

А потом я на год отстала от своей группы из-за академического отпуска, а когда вернулась, то испытала серьезные трудности с восстановлением самих навыков учебы, освоением научного языка и логики движения в системе знаний, которые на 2-м курсе уже ушли от первичной романтики и обросли другими – вспомогательными, идеологическими (одна история КПСС чего стоила!), да и сама история, чем дальше, тем больше подавалась идеологически. Сейчас, даже пытаюсь вспомнить что-то про 2-й и 3-й курс, не могу назвать ничего определенного. Кроме философии и спецкурсов, которые читали нам приезжавшие из Москвы большие ученые и замечательные специалисты – историки А. Я. Гуревич и Н. Я. Эйдельман, исследователь древнерусского искусства А. П. Рогов, африканист и индолог А. И. Собченко (его я на экзамене буквально умилила рассказом о языке африканских барабанов, приятно вспомнить).

Философия давалась мне легко, все три дисциплины – диамат, истмат и особенно история философии, с помощью которой я поняла, что такое парадигмальность, что, встав на какую-то одну точку зрения, можно мыслить ее категориями и видеть одну картину мира, а потом с другой точки зрения – другими

категориями в другой картине мира. Тоже как путешествие по разным мирам и установка на ценность разного. Вот тут и вспомнишь напороченный мне в юности «философский техникум»!

Кстати, мое второе «Я» (а в личной истории первое) не только не было подавлено, а первые три курса – как раз до наступления серьезного периода – помогало существовать в отсутствие сильной учебной мотивации, потому что давало возможность по-прежнему петь, играть в студенческом театре поэзии и т.д. Потом, думаю, именно этот креатив был переадресован науке. Сублимация, знаете ли.

И все-таки на фоне заметного разочарования в учебе в эти годы происходило нечто важное, потому что позже, на 4-м курсе, о котором еще расскажу, застала себя кое-что умеющей и с тех пор уверенно двигалась уже по исследовательской дорожке. Такое впечатление, что главная познавательная работа шла в основном, в бессознательном, скрыто от собственных глаз, как во сне.

Про бессознательное говорю сознательно, простите за каламбур, потому что много занималась этим вопросом, в том числе, социологически, книжка есть в соавторстве с еще двумя коллегами.

Известно, что бессознательное, будучи самой древней частью сознания, имеет собственные средства контроля происходящего и может накапливать результаты, не вынося их до поры до времени на поверхность. Местопребывание бессознательного – один из участков мозга, древняя лимбическая система, а также все грешное тело. В общем, пока студент от сессии до сессии живет весело, не только его мозг, но и все его тело участвует в познании. (Прозвучало многозначно, но я согласна, пусть остается). Итак, некий организм в лице своего обладателя присутствует в среде обитания, «всеорганно и общетелесно». Так говорят Заратустры психоанализа. А содержательно богатая среда снабжает его многочисленными ситуациями, активностью и разнообразнейшими текстами и нарративами – устными и письменными, строгими и нестрогими, кодифицированными и нет, в разговорах, спорах, дескрипциях и рефлексиях. Что, кажется, входит в голову само собой, в непредсказуемых сочетаниях, как если бы вы скользили по волнам радиоэфира, сменяя частоты, и вас окружали кучевые облака смыслов, «тихо плавая в тумане без руля и без ветрил», переплетаясь, соединяясь, рифмуясь друг с другом или, наоборот, отталкиваясь. Возникающее при этом ощущение неорганизованности, неясности, хаоса представлений довольно сильно угнетает, особенно если на минуту задуматься, а что ты тут, собственно, делаешь, и зачем тебе это нужно. Потому, полагаю, и снижается еще недавно бодрый, победный тонус новообращенного студюзуса.

Но видимо, плавание это не проходит зря, потому что выныриваешь из него с рыбкой в зубах. Про себя знаю, что этой рыбкой, т.е. признаком того, что некое эмбриональное состояние закончилось, и можно действовать, стало осознание (вот только не смейтесь, пожалуйста), что откуда-то появились мысли. Я имею в виду мысли, так сказать, «по специальности», такие зародыши профессиональных аналитических суждений. Собственные, нигде не прочитанные, удивляющие своей необычностью. Я точно помню свою первую мысль. Она была о народовольцах, которым я, как, видимо, и большинство советских людей, относившихся к революционной борьбе и революции возвышенно и романтично, симпатизировала. И вдруг – иное понимание: но ведь они преступники! Убив

царя, они нанесли вред государству, породили террор, прервалась вершущая либерализация и в конце концов логика процесса довела страну до революции и страшной гражданской войны. Да и просто погибли невинные люди! Немного уже модернизированная мысль, но в основе – та, первая.

Вот эта благоприобретенная способность совершать мыслительную работу кажется мне признаком уже бывшего какие-то плоды образования – в том числе, образования как характеристики личности. Собственная мысль означает выход из полубессознательного дрейфа в «учебном процессе» и формирование активного умственного и, повторю, личностного, статуса, что ли. Вот как-то все срослось и возникла способность сознательно существовать и в учебе, и в самостоятельной работе.

Думала, где, в каком месте повествования сказать об усвоенных установках такой работы, о научном мышлении как методе и как ценности. Здесь скажу. Все это тоже обнаружила в себе, когда начала работать, хотя никакого специального обучения этому не было. Просто наши педагоги были носителями этих ценностей и все, что они нам передавали, уже содержало в себе эти подходы. Способы построения суждений, общение, язык, на котором они изъяснялись со студентами, делали применение соответствующих образцов совершенно естественным. Мастер, школа и подражание лучшим образцам, шедеврам – видимо, так же, как в средневековых цехах, в передаче из рук в руки, из уст в уста существует и ремесло, и научный колледж.

На 4-м курсе все это проявилось в первой серьезной курсовой работе. Она была по Новой истории, по теме, связанной с Робертом Оуэном. Формулировку не помню, но что-то вроде «Роберт Оуэн как практик социалистической утопии». Во всяком случае так я ее назвала бы сегодня. Писала с удовольствием, легко оперировала материалом, сопоставляла, сравнивала, конструировала композицию – в общем, все, как положено, и запомнила эту работу как первый исследовательский опыт. А главным ее результатом было то, что строгий Лев Фадеевич Лисс, преподаватель этого курса и куратор работы, взял меня в свой спецсеминар по социологии науки и согласился стать научным руководителем моего диплома.

Так в моей биографии начинается социологическая линия.

Оля, какой же это был год? Л. Ф. Лисс – известный специалист, какой же он представил Вам социологию науки? Чем конкретно Вы заинтересовались? Замечу, мой историко-биографический проект я рассматриваю и как работу в области социологии науки.

А был это 1971–72 год. У Льва Фадеевича уже работал спецсеминар, где собирались студенты разных курсов и шло обсуждение неких идей вокруг науки и образования, в том числе, в связи с выпускными работами пятикурсников. О спецсеминаре чуть позже, а пока о самом Льве Фадеевиче.

Не берусь утверждать, что все было именно так, но похоже, что так. Во всяком случае, мой дальнейший рассказ не противоречит воспоминаниям Л.Ф. об этом периоде. А он их написал и издал, и это очень интересно. Закончив школу в Новосибирске с золотой медалью, Л.Ф. в 1946 году уехал в Москву, где учился на истфаке МГУ, тоже с блестящими успехами. Несколько иронически он пишет о том, что блестящим было и его распределение на работу – в педучилище города Бердска Новосибирской области. Но, может, и не шутя, почти блестящим,

потому что даже с хорошими результатами неумолимое распределение отправляло выпускников МГУ на работу по всей стране, в том числе, в местные архивы, что, конечно, не столь почетно, как педучилище в городе Бердске. Дальнейшая карьера сделала Л.Ф. директором школы, и ему это нравилось, поскольку позволяло реализовать организаторские таланты. Вот с поста директора школы он и был приглашен в начавший тогда строиться Академгородок заведовать учебной частью зарождавшегося университета. Совсем молодым человеком, едва 30-ти лет.

Все тогда были молодые, даже академики. Будучи выпускниками МГУ, ЛГУ и московского Физтеха (МФТИ) они считали необходимым иметь в Новосибирском научном центре университет, причем с самого начала называя его «университетом нового типа». Эта новизна заключалась в том, что университет следовало тесно связать с работой научных институтов, чтобы он мог стать органом постоянного обновления и ускорения самого научного процесса. Этому собирались добиться особой структурой учебных занятий, когда общенаучная подготовка сосредотачивалась на первых трех курсах университета, а старшекурсники уже полноценно включались в работу научных институтов. Кроме того, преподавателями должны были стать сами сотрудники институтов с высочайшими требованиями к квалификации: преподавать могли только люди уже с научными степенями, а результаты их повседневной научной работы немедленно переносились в студенческие аудитории.

И все бы хорошо, но унифицированная и сверхцентрализованная советская образовательная система не содержала таких норм. Отдельные элементы подобной организации учебного процесса существовали в МГУ и Физтехе, у академика А. Иоффе в НИИ и Ленинградском Политехе, но в полной мере она не практиковалась нигде. То есть ее нужно было создавать с нуля – и на уровне уставных министерских и внутренних документов, и на уровне организации непосредственной практической деятельности – кадров, жилья, нагрузки, расписания и т.д. И особенно – правил взаимодействия с управляющей бюрократией местного и московского уровня, частью формальных, закрепленных, а частью неформальных, человеческих. Об этом тоже множество потрясающе интересного можно прочесть у Л.Ф. в мемуарах.

Вот этой оргработой и занимался Лев Фадеевич, оказавшись в кругу выдающихся людей своего времени – крупных ученых, организаторов науки и образования. В своих воспоминаниях он с глубоким уважением и очень человечно пишет об отцах-основателях университета – академиках М. А. Лаврентьеве, И. Н. Векуа, С. Т. Беляеве, А. И. Мальцеве, С. Л. Соболеве и других.

Когда университет заработал на полную мощность, Льва Фадеевича «отпустили» преподавать на Гумфак, он читал там Новую историю, изучал историю образования во всемирном масштабе, при этом продолжая участвовать в сложных сетях административных и межличностных отношений. Думаю, что именно вот эта демиургическая работа – создание университета практически на пустом месте, с нуля, в Сибири, в лесу, но в компании с мощными мыслителями и яркими энтузиастами своего дела и привела Л.Ф. в социологию науки. Как историк он сопоставлял опыт создания НГУ с зарубежным опытом, а как надежный для руководящих кругов человек имел допуск в спецхран Новосибирской публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) и однажды, уже в мою

бытность его ученицей, принес оттуда фотокопии какой-то англоязычной, скорее всего, американской, монографии о развитии науки как института и как сообщества ученых. Помнится, его особенно интересовали их биографии, их жизненный путь и личностные особенности – как стимулы научного успеха. Вот почему нам, студентам, семинаристам, для перевода с английского и освоения этого безумно интересного и необычного материала была выдана часть фотографий с подробным описанием знаменитого 16-факторного личностного опросника Р. Б. Кеттелла и результатами тестов, продемонстрированных по нему успешными учеными.

Деталь того времени: фотографии – это не то что нынче ксерокопии. Фотобумага толстая, выпрямить ее почему-то не получалось, и она все время скручивалась в трубочку, а кроме того, отпечатки были сделаны с негатива, то есть белый текст на черном фоне. В общем, читать это было страшно неудобно, переводить с английского еще неудобнее (в силу не особо выдающегося владения), так что трудов было затрачено немало. А добытое таким образом знание обсуждали, в том числе, на семинарах.

Спецсеминары в НГУ были и остаются до сих пор особой учебной формой специализации – групповая межкурсовая (4–5 курсы) мастерская у одного научного руководителя, в высшей степени удачно ориентированная на научное творчество и поддержание научных школ. В этом состояла одна из специфических черт НГУ, черта его эксклюзивных правил, и больше я таких примеров никогда не встречала. Когда сама начала преподавать, всё просила: дайте мне спецсеминар, но вокруг просто никто не понимал, чего я хочу.

Я не знаю, сколько времени просуществовал у нас на историческом отделении Гумфака спецсеминар по социологии науки, но из него вышли, думаю, несколько десятков социологов, профилированных в рамках тематики «наука и высшая школа в системе культуры». Причем в 1970–80-х годах это было уникальным явлением, потому что социологического образования в стране еще не существовало. У меня, не в самих дипломных «корочках», а во вкладыше, значится небывалая для того времени квалификация: «историк со специализацией по социологии». Она прямо вытекала из темы дипломной работы и подтверждалась ею: «Социальная обусловленность революционной активности учащейся молодежи в 70-х годах XIX века». И это отдельная удивительная история.

P.S.: Вот, до сих пор помню тему, а многие нынешние дипломники, которым через полгода защищаться, свою могут до последнего не помнить. Ну, это полбеда, а беда – и не понимаю, откуда взявшаяся – в том, что (Боже! Я так произношу эти слова – «в наше время!») – но в наше время никакому научному руководителю не пришло бы в голову сидеть со студентами, чуть ли не диктуя им тексты работы. Мой диплом Лев Фадеевич увидел готовым, мою кандидатскую Владимир Тимофеевич Лисовский увидел готовой. А нынче ребята отчаянно не самостоятельны. И с дипломами часто тянут до последнего просто потому, что не знают, как к ним подступиться. А уж править их тексты – ... мы все этим занимаемся.

Непременно хочу сказать, что Лев Фадеевич Лисс – очень строгий учитель, человек исключительной четкости и ясности мысли, а кроме того, очень красивый человек. В 2013 году ему исполнилось 85, на юбилее Гумфака в 2012 он сделал доклад о его истории и вел секцию на конференции. Тогда же я его

навещала в Академгородке и была счастлива видеть, что он продолжает работать, и, хотя не очень здоров, но потрясающе выглядит в своем маленьком домашнем компьютерном центре, который я называю «Центр управления полетами», перед экраном, на котором заведена знаменитая книжка Дж.Салми «Создание университетов мирового класса».

Во время нашей встречи к нему зашла другая его ученица, гора-а-а-аздо моложе меня, и страшно ревновала к нашим с ним прощальным объятиям. Он вышел на лестницу меня проводить, и вот тогда я едва сдержалась, чтобы не заплакать.

Спасибо, какой теме Вы посвятили свою дипломную работу? Что удалось сделать?

Ну, вот, мы находимся в 1971–72 году, и надо писать диплом. Тут в моем повествовании (Ваше почтовое определение «повестушки» для моего жанра мне очень понравилось) появляется еще один замечательный человек – старший брат моего мужа, Юрий Давидович Марголис. Необыкновенный человек, яркая личность, блестящий историк, гениальный педагог. Достаточно сказать, что его семинар работает до сих пор, хотя самого Юрия Давидовича уже почти 20 лет нет с нами. А его уже немолодые и уже маститые ученики все еще собираются на научные беседы. Если с кем-то его можно сравнить – то с Натаном Яковлевичем Эйдельманом.

Ю.Д. преподавал на истфаке ЛГУ, и никто не сомневался в его грядущей большой карьере, но поперек ей – да и всей его жизни – встала «утрата политической бдительности», которая выразилась в чтении книг Р.Пайпса и М.Джиласа, а также в недонесении о подпольном кружке, а вообще-то довольно крупной подпольной организации Игоря Огурцова, основателя ВСХСОН (Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа). Ю.Д. к ней никак не принадлежал, но знал – и не донес. В результате был исключен из партии и изгнан с факультета. Это 1964–68 знаковые годы. Собственно, именно поэтому его младший брат Саша, впоследствии мой муж, не имел возможности поступить учиться в ЛГУ, а уехал в Новосибирск, где на Гумфаке Новосибирского университета преподавал студенческий друг Ю.Д. – Варлен Львович Соскин, ныне профессор, известный историк Сибири. Для меня это, как Вы понимаете, судьбоносный момент – сошлись два беглеца: один из Ленинграда, другая из Самары.

После нескольких лет без преподавательской работы, а находясь в должности заместителя главного механика ситценабивной фабрики им. Веры Слуцкой и написания ее истории (Ничто не может так украсить биографию историка, как должность механика! Книга его о фабрике вышла без указания имени автора) – Ю.Д. возвращается в университет, но не преподавать, это ему было запрещено, а работать в НИИКСИ. И работает в там в лаборатории В.Т. Лисовского при полном обожании и до сих пор восторженной памяти всех, кто был к этому причастен. Вообще НИИКСИ был таким местом ссылки для ЛГУ, туда отсылали на исправительный срок многих провинившихся политически, и это была, конечно, мягкая мера наказания.

Для меня отсюда следуют ещё два судьбоносных момента. Во-первых, тема диплома. Ю.Д. всю свою профессиональную жизнь на фоне других направлений работы занимался студенческим движением в России, и обсуждая мой будущий

диплом, предложил тематику народничества 1870-х годов, ибо народники были сплошь студенты. Возможно, эта мысль родилась из моих рассказов о преддипломной архивной практике, которую весь наш курс (25 человек) проводил в Москве! Такие были возможности у Новосибирского университета, сегодня это просто поражает. Во время этой практики, не помню уже как, похоже, в совершенно спонтанном поиске, в делах Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии – ведомства, которое занималось политическим сыском и слежкой за революционерами, – я набрела на документ, который тогда же осознала как социологический. Это было что-то вроде аналитической записки об антиправительственных настроениях в студенческой среде со статистикой, таблицами, социодемографическими выкладками, основными тезисами пропаганды и т.д. – блестящий, спокойный, точный аналитический документ. Между прочим, с того самого времени, не зная вопроса доподлинно, я все же имею убеждение, что такая тайная социология существовала в стране всегда, даже когда научной, открытой социологии не было, то есть в СССР. А чего добру пропадать? Ведь дело было хорошо поставлено.

И вот, к уже имевшемуся у меня интересу и кое-какому материалу Ю.Д. добавляет самую существенную основу. Он присылает мне в Новосибирск редчайшее, раритетное издание 1930-х годов – Библиографический словарь «Деятели революционного движения в России» за 1870–80-е годы! Всё в этом факте удивительно: на другой конец страны уходит из Библиотеки академии наук в Ленинграде книга, которую и на дом-то не выдают! Но Ю.Д. имеет такой авторитет, что получает ее в длительное пользование. И я получаю потрясающий источник – собрание кратких биографий практически всех известных участников «хождения в народ», построенный тоже с использованием материалов III Отделения. А они там уж такие аккуратисты, что при малейшей возможности фиксируют все основные признаки социального и семейного положения, место работы, учебы и формы участия. И не только лидеров и организаторов, но и большого числа сочувствующих. Вместе с членами семей и товарищами около тысячи имен, точной цифры не помню. В общем, сети широко закидывали. Материал Словаря фактически представлял собой результаты анкетного опроса, а если вспомнить, что французское слово *enquête*, означающее «расследование», пришло к нам из криминалистики, то так оно и есть – анкетный опрос. Оставалось подсчитать, типологизировать и обобщить. Для этого мне пришлось перенести все унифицированные данные на карточки, т.е. создать большую картотеку, с ней много-много работать, раскладывая карточки на разные кучки, и в итоге узнать кое-что новенькое, т.е. получить исследовательский результат.

Итак, «Социальная обусловленность революционной активности учащейся молодежи в 70-х годах XIX века». Результаты соответствующие:

1. Да, большинство народников были студенты, в том числе, недоучившиеся, изгнанные из университетов и институтов (обстоятельство, служившее и причиной и следствием политической активности), молодые интеллигентно-разночинцы, закончившие вузы, а также гимназисты старших возрастов. Особо отличались студенты Медико-хирургической академии, Лесного и Горного институтов, Института инженеров путей сообщения, Петербургского политехнического института, Петербургского университета. То есть ситуация, позже

описанная Т. Парсонсом для 1960-х, когда сама по себе концентрация молодых людей в университетах была стимулом и средой для распространения протестных идей.

2. Вообще образование выглядело сильным фактором революционных настроений. В пореформенное время на волне капиталистического бума оно само росло быстрыми темпами, особенно образование непосредственных производителей, рабочих (график в дипломе был красивый, до сих пор помню), ну, и просветительская, развивающая, интеллектуальная миссия его были очевидны.

3. Вполне сочувствующей средой оказались и семьи молодых людей. Среди арестованных и привлеченных к ответственности было множество братьев, сестер и даже матерей участников движения.

4. Наконец, диплом имел ясно выраженный междисциплинарный историко-социологический характер! И это потом было записано в формулировке квалификации. К этому времени уже вышли работы Я. И. Гилинского, откуда я почерпнула термин «социализация», и В. Д. Плахова, откуда пришел анализ с точки зрения социальных норм. Может быть, они и помогли мне тогда произвести на свет свою первую Мысль – о преступности народовольческой террористической деятельности? Писала об этом выше. Как у Б. Гребенщикова: «Революция, ты научила нас верить в несправедливость добра». Хотя, возможно, наоборот: в недобрую силу того, что считается справедливостью.

В общем, хорошие получились результаты, настоящие, Лев Фадеевич был доволен, я счастлива, но остаться в Городке и продолжить научную стезю мы не могли из-за очередной семейной политической истории, теперь уже с Сашей и моим участием (постановка студенческого театра «Рыжее и серое», воспринятое «органами» как идеологически подрывная). Вот она, семья, опять сказала. Пока я заканчивала последний год учебы, он вместо аспирантуры работал в сельской школе, а потом мы вернулись в Ленинград. То есть, он вернулся, а я, как жена декабриста, а в данном случае, декабристоведа, последовала за ним. Правда, не на каторгу, а в обратном направлении)

Через два года после переезда и моей первой работы в архиве кинофонофотодокументов, опять с легкой руки Юрия Давидовича, я оказалась в НИИКСИ, во вновь образованной лаборатории проблем подготовки специалистов в высшей школе, под руководством Елены Эмильевны Смирновой, с которой мы подружились, много вместе работали, были соавторами, и потом уже она двинула меня дальше, в высшую школу, преподавать.

Если бы не Ю.Д. и потом Лена Смирнова, я не знаю, как сложилась бы моя профессиональная жизнь, потому что у меня самой с амбициями плоховато. А эти люди побуждали двигаться. И вот вывод: очень нужно, чтобы кто-то говорил таким, не слишком амбициозным людям, как я, – «Ты можешь». Вспомню здесь еще Наля Александровича Хохлова, одного из любимейших наших педагогов на Гумфаке НГУ, я у него слушала диамат. Ну, можете себе представить, какого уровня знания мы демонстрировали. Неплохие, в общем, но в масштабах философии... скажем так, наивные. И вот на одном из экзаменов, ставя мне «пятерку», он сказал: «У Вас хороший мыслительный аппарат». Ах, как я это запомнила!

Как мне всю жизнь это помогало. И помня это, в подобных случаях, я говорю это своим студентам, называя при этом и имя своего педагога. Мне не жалко им это говорить, потому что я знаю, как это ценно.

Два эпизода вдогонку истории с дипломом. Пока, вернувшись, я искала, и мне искали работу в Ленинграде, возник вариант с истфаком ЛГУ. Меня познакомили с доцентом факультета Б. Н. Мироновым. Будучи историком, он интересовался социологией, и ему дали читать мой диплом. Устройства на работу из этого не произошло, но кое-какие последствия были. Купив однажды его книжку «Историк и социология» и открыв ее на первой попавшейся странице, я увидела там... свои таблицы и другие данные диплома. Без ссылки – и почему-то хочется написать «разумеется, без ссылки». Испытала смешанные чувства, причем первым было удовольствие – вот, и правда, хорошие были результаты у диплома, достойные публикации известным специалистом. Но вторые чувства были понятно, какие. И вот опять удивительный факт: нашелся защитник, и нанесенная обида была отомщена. Молодой и горячий Лев Лурье, сегодня знаменитый ученый, любимый учитель питерских гимназистов и наш с Сашей друг, в одной из своих статей прямо написал, что Б. Н. Миронов совершил плагиат. Могу ошибаться, но, кажется, в Советском Союзе такого раньше не бывало.

...А свою картотеку по материалам Биобиблиографического Словаря перед отъездом в Ленинград я уничтожила. Мысль была такая: я знаю, какие ошибки при фиксации данных я совершила, и если буду эту работу продолжать, то надо, чтобы не было соблазна воспользоваться неточным исходным массивом...

Вернемся к Вашим словам: «... я оказалась в НИИКСИ». Когда это было? Кто в те годы там был директором? Какая команда социологов тогда в нем работала?

Да, вот, «оказалась в НИИКСИ», в только что образованной лаборатории проблем подготовки специалистов в высшей школе, которой руководила молодая и прекрасная Елена Эмильевна Смирнова. Было это в 1974 году. По рекомендации Ю. Д. Марголиса Е.Э. взяла меня почти без пристрелки. «Почти» – потому что один предшествующий разговор квалификационного содержания все же состоялся. Там я что-то импровизировала в ответ на ее вопросы, рисуя при этом схему с характерными «щедровицкими» человечками, что, видимо, стало дополнительной гирькой на весы ее решения, потому что это имя и то, что с ним связано, было ей уже известно. Георгий Петрович Щедровицкий – еще одна о-о-о-очень большая величина в моей личной истории, но я не представляю, как о нем можно что-то просто рассказать. До сих пор ощущения, как от сверхплотной материи и сверхновой звезды одновременно. Однако, по порядку.

Явление науки вообще и аббревиатура «НИИ» в частности придавали эпохе 1960–70-х годов весьма романтическое звучание. Героем книг и кино стал МНС – младший научный сотрудник, он шел на грозу (Д.Гранин), стремился в космос, создавал мирный и немирный атом и т.д. Вот и НИИКСИ предстал для меня в таком романтическом ореоле, и я почти не шучу, и по сей день считаю проведенные там 25 лет лучшим временем своей взрослой жизни и работы.

Институт располагался во дворце графов Бобринских на улице Красной, а раньше и теперь Галерной. Галерной – потому что она вела к высоким заборам и запертым воротам бывших петровских верфей, а в советское время – Адмиралтейского судостроительного объединения, в непосредственном сосед-

стве с которым стоял и дворец. Это соседство нам никак не досаждало, а порой бывало очень даже полезным, когда во времена продуктового дефицита к нам в институт дородные заводские буфетчицы приносили в корзинах нераспроданные предпраздничные «заказы» – свертки с копченой колбасой, сырой печенкой, растворимым кофе и т.д.

Сам дворец находился в плачевном состоянии – обветшалый, сырой, но просторный и экзотичный. В самых неожиданных местах, среди вполне утилитарных стен глаз нет-нет да и выхватывал какой-нибудь бывший декор, и прямо из темноватого коридора можно было попасть в помещения со следами былой роскоши. Такими были юридическая лаборатория, обитая по стенам поблекшим багровым шелком (Красная гостиная), овальный кабинет директора, в 1970-е Алексея Степановича Пашкова, с высоченными арочными окнами, выходящими в сад и создававшими для Ученых советов дивную атмосферу загородной дачи, и сама приемная перед директорским кабинетом, очень светлая, легкая, воздушная, цвета слоновой кости зала, очень подходящая для приветливой милой женщины, секретаря Алексея Степановича, которую все звали просто Валечка. Настолько Валечка, что я даже не помню ее отчества. Из тех секретарей, которые всем рады, за всех болеют, всем помогают и самого директора очеловечивают. Еще мне очень нравилась центральная ротонда с высоким куполом и двумя округлыми лестницами, по которым сновало все местное народонаселение, где можно было встретиться и переговорить с коллегами и где на площадке, на лавочке, сживали, бывало, четыре наших богатыря – Юрий Алексеевич Суслов, Павел Николаевич Лебедев, Николай Грибалев и Роман Могилевский. Молодые, озорные, мозговой авангард института. Мимо них и ходить-то было страшно – сразу четыре пары насмешливых мужских глаз, но по-хорошему насмешливых, дружеских, втягивающих в живую общую жизнь.

Впрочем, наша лаборатория поначалу этих красот была лишена. Ее первый адрес – подвал жилого дома на 1-й линии Васильевского острова, мало похожий на научный центр. Да и потом мы сменили несколько адресов и помещений в разных концах города и в самом дворце, часто тоже в сырых и холодных повалах. А вот на общеинститутские мероприятия собирались в «парадных залах» с лепниной и росписями. Общими мероприятиями были профсоюзные собрания и методологические семинары. Надо сказать, что к своему «титульному» имени – Институт комплексных социальных исследований – коллектив относился серьезно, и проблематика комплексности, системности, междисциплинарности была в научной жизни центральной. Или одной из центральных, уступая место только ведущей, локомотивной теме – социальному планированию, в которой я ничего не понимала, и рассказать в связи с этим ничего не могу. Бывать на общих мероприятиях мне очень нравилось, потому что там обретал плоть явственно выраженный научный коллектив, где между отдельными лабораториями не существовало жестких дисциплинарных и понятийных границ, и где атмосфера была очень похожа на прославленный Аркадием и Борисом Стругацкими понедельник, который начинается в субботу.

Вот, например, и я почти не шучу, главным событием рабочего дня могло быть, и часто бывало, чаепитие. Одно из наших помещений во Дворце к этому весьма располагало – там стоял большой квадратный стол, за которым все могли устроиться. И вот, с самого утра и с самого начала рабочего дня кипятился элек-

трический самовар, выкладывалась на стол вся принесенная снедь и начинался разговор. С чего бы он ни начался, через несколько минут уже шел, можно сказать, симпозиум. Конечно, о работе, о ее научных тонкостях и о текущем проекте, хотя словом «проект» мы тогда не пользовались. Что важно: за чаем не существовало никакой иерархии или субординации, за чаем можно было не придерживаться понятийных строгостей, а изъясняться шуточно и бесконтрольно. Именно поэтому там рождались лучшие идеи и общее понимание дела. А вот по поводу политических проблем, уже во время Перестройки, конечно, кипели битвы. Во всяком случае, у меня с одним нашим коллегой.

В неформальной, но, по сути, очень серьезной мыслительной работе вдруг могли вскрыться какие-то важные тайны. Однажды некая прикомандированная к нам временно, помнится, с философского факультета, девушка в пылу спора почти вскричала: «Ну, что вы всё «общество» да «общество». Что это такое, блин, – общество?» – И стало понятно, что мы не очень-то можем ответить. Не будешь же всерьез утверждать, что это «Часть материального мира, отделившаяся от природы... и т.д.» А что? Пришлось прояснять представления. Но вот на днях, услышала ровно этот вопрос от магистрантки, правда педагогического профиля. А меж тем прошло лет 25 уже. Вот вам скорость развития нашего общественного сознания, вот вам его состояние и вот вам работа школы и университета по человеческому развитию...

И все-таки наука – прекрасная вещь. А коллективная научная работа, даже с известными внутригрупповыми напряжениями – самая прекрасная работа, которую я знаю. После ухода из НИИКСИ мне всего этого очень не хватает. Но по времени моего рассказа до этого еще очень далеко.

На самом деле, официальное название лаборатории содержало еще одно слово: «по исследованию проблем подготовки специалистов...», но этой смысловой нелепостью («лаборатория по исследованию») думаю, что сознательно пренебрегли, потому что без слов «по исследованию» получалось, что у высшей школы СССР есть какие-то проблемы. Заявить это столь открыто даже государственные учредители не могли. Однако лаборатория появилась на свет именно потому, что проблемы у высшей школы были, и нешуточные.

На днях одна моя приятельница, московский социолог, разместила на страничке Фейсбука фотографию своего диплома от, кажется, Общества «Знание», где черным по белому написано, что она – лектор «пропаганды проблем нравственного воспитания». Ну, чистый Фрейд! Так боялись одного лишь упоминания проблем, так обставляли всевозможными экивоками, что всё это, наоборот, бросалось в глаза и выдавало тогдашних «специалистов по дискурсу» с головой.

Но вернемся к проблемам подготовки специалистов. Еще в 1970 году в СССР была издана монография Филиппа Кумбса «Кризис образования в современном мире: системный анализ». В ней констатировалась неспособность образовательных систем угнаться за научно-техническим прогрессом и соответствовать его запросам в области подготовки специалистов из-за глубоких разрывов между содержанием образования и жизнью, т.е. характером реальных проблем, которые требуют решения. Книга вышла всего через три года после одноименного доклада автора на конференции ЮНЕСКО, что для нашей издательской системы и при нашем отношении к зарубежным идеям было более чем

оперативно. Видимо, «наверху» об образовании знали что-то большее, чем весь остальной советский народ, вполне удовлетворенный или даже вдохновленный суждением Дж. Кеннеди о лучшем в мире советском образовании.

Тут у меня в первом варианте текста стоит ремарка «подводники». Да, видимо, «наверху» и в других важных инстанциях об образовании и связанных с ним проблемах знали что-то серьезное. Надеюсь, никого не подведу, если расскажу один случай. Однажды к нам в лабораторию, тогда на ул. Чайковского угол Потемкинской, пришли трое красивых мужчин в морской форме и попросили оставить их наедине с руководителем. Подивились, что с ними будет говорит вот эта великолепная блондинка, но своих намерений не изменили, и разговор состоялся. Подробностей Лена нам не рассказала, но в общем получалось так, что эти люди, офицеры-подводники, потрясены авариями, которые случаются на подводном флоте, в них гибнут их друзья, а причин они понять не могут. Обсудив и проанализировав между собой, кажется, все возможные варианты, они дошли до версии о недостаточной профессиональной подготовке. По каким-то отдаленным сведениям нашли лабораторию, вот именно, проблем подготовки специалистов и пришли консультироваться... Было в этом что-то от безысходности. А случилось лет за 15 до «Курска», а то и больше, когда о таких авариях ходили лишь очень глухие слухи.

Так или иначе, открытие лаборатории произошло по госзаказу, то есть были выделены средства и «спущена» тема – модель специалиста. Результатом разработок должны были стать нормативные или даже идеальные «образы» специалистов для их более точной, в том числе, целевой, подготовки в вузах. Пока называю явление сорокалетней давности применявшимися тогда словами и терминами, хотя сейчас оно выглядит и терминологически описывается иначе.

Такой заказ поступил не нам одним, моделями специалистов занимались на всех ступенях системы образования от чуть ли не ПТУ до университетов. Кто-то шел путем определения необходимых психологических качеств специалистов, и получалась модель личности специалиста. Кто-то аналитическим или экспертным путем конструировал квалификационные характеристики для номенклатуры специальностей, а кто-то, как наша исследовательская группа, подходил к задаче путем моделирования самих профессиональных деятельностей. И на то время этот подход был наиболее правильным и наиболее научным. Идея состояла в обратной связи между сферой практики и учебным процессом. В вуз, который, по умолчанию, понимался как структура, консервативно транслирующая некие автономно существующие знания, следовало «вернуть» информацию о том, что «на самом деле» на своих рабочих местах делают специалисты, чтобы под эти живые требования подогнать содержание образования. То есть как бы осуществить обратную связь.

Была в этом подходе одна методологическая заноза, не до конца осознаваемая. Потому что, вот именно, «как бы осуществить». «Вернуть» вузу информацию о реальных практиках специалистов и подгонять к ним учебный процесс тогда означало замкнуть порочный круг. Потому что реальные практики застойного производства в стагнирующей экономике могли лишь законсервировать их в образовании. И что? Обучать будущих специалистов перманентному ремонту гнилых труб и руководящим приемам приведения в чувство загулявших рабочих, как это получалось по нашим данным? Хорошенькое развитие в период НТР!

И вот вдруг подумала, прямо сейчас: а может, именно так и надо было учить? Вот это был бы эффективный менеджмент. Кстати, слова «менеджмент» ни мы, ни наши респонденты тогда тоже не знали.

Сегодня, когда квалификационные модели и профессиональные стандарты разрабатывают на основе экспертного мнения руководителей и работодателей, задача тоже вряд ли решается надолго, потому что руководители и работодатели далеко не всегда могут считаться прогностически ценными экспертами – главным образом, потому, что тоже существуют в мало развивающихся контекстах. Работодатель вряд ли может прогнозировать и проектировать необходимое ему образование работников. Он не стратегический мыслитель, не визионер, не прогнозист и не проектировщик новых видов деятельности, и он тоже не знает, что ему понадобится завтра, кроме способности людей переучиваться и коммуницировать. Попытка исследовать проектно-прогностическую позицию, например, школьного руководства показала, что оно, как правило, не выходит за границы представлений о текущем состоянии квалификаций учителя. Директора школ видят образ нового педагога просто как улучшенный старый – все то же самое, только более дисциплинированно и ответственно.

Но это мы сейчас такие умные, а тогда, в середине 1970-х, обращение к практике деятельности специалистов, повторюсь, казалось наиболее адекватным шагом в изменении содержания образования. Итак, мы определились через модель деятельности и тем самым вышли, без преувеличений, на передовые рубежи науки и методологии. Потому что присоединились к деятельностному подходу и обсуждению категории «деятельность», которая преодолевала научно-коммунистическую детерминацию всего сущего, выводила из тени субъекта деятельности, а вместе с ним – его собственные цели, что уже было почти криминально. Но свежо! И в обстановке унылых 70-х это примиряло с действительностью. Отсюда дорожка вела как раз к московским философам-системщикам, к проблемам комплексных исследований и к школе Г. П. Щедровицкого.

В своем интервью для Вашего, Борис, проекта Лена Смирнова вспоминает коллизию с ее докторской защитой, где была подвергнута сомнению сама научность проведенных исследований по модели деятельности, и Вашу поддержку, которая ей существенно помогла. Хочу обозначить здесь свою позицию.

Честно говоря, в ходе той работы я не очень понимала, почему она считается социологической. Мы ничего не стремились узнать о людях и обстоятельствах их жизни, а лишь методично (чуть не сказала «тупо» – однако же совсем не тупо!) фиксировали детали их рабочего функционирования. Тут надо рассказать, что собой представляли наши модели. Я пришла в лабораторию, когда методическая основа уже была заложена. Модель понималась как структурированный текстовый аналог деятельности. В качестве структур выделялись несколько параметров описания (сейчас говорят «дескрипторов») – проблемы, которые решает специалист, знания, которые он при этом применяет, функции, которые исполняет и некоторые другие, то есть, действительно то, на что надо было ориентировать учебный процесс. В нашей инструментарии они были представлены в виде многоуровневых номинативных шкал. Сегодня это называется «профессионально-квалификационные модели», средствами описания в них

служат наборы компетенций и компетентностей работника, довольно широко применяемые в рекрутинге и в корпоративном образовании. Конструируются они, в основном, экспертным методом, в том числе, с прикидкой на прогноз.

А мы это делали социологическим методом, опросом, то есть экспертами по фактическому характеру деятельности у нас выступали сами работники разных отраслей и предприятий. И это в результате делало сугубо техническую задачу познавательной и научной. В методическом отношении это было полностью стандартизированное, формализованное интервью с измерительной процедурой. Структурное описание деятельности создавалось путем ранжирования фрагментированных элементов деятельности по частоте или важности. Для удобства ранжирования каждая «деталь», а их было несколько десятков, штук сто пятьдесят в общей сложности, заносилась на отдельную карточку. Таким образом, респонденты – инженеры и научные работники – занимались у нас в ходе интервью раскладкой пасьянсов из этих карточек, причем делали это с интересом и удовольствием. С тех пор я ничего подобного не встречала. Надо ли говорить, что обработка гигантских «простыней» с накоплением и пересчетом ранжированных рядов в итоговые частотные конструкции происходила вручную? Таки вручную.

Себе для удобства работы я сшила из клеенки такую «кассу» с кармашками, как для азбуки в первом классе. И это немало способствовало точности работы, потому что ничего не терялось, не перепутывалось и сохраняло «концептуальную стройность».

Ой, к вопросу о концептуальной стройности и всякой другой концептуальности. Не забыть хотя бы упомянуть Владимира Александровича Сухина, нашего замдиректора, человека явно из каких-то спецслужб. К науке, за которой он должен был «присматривать», он относился с плохо скрываемым презрением, одним из самых больших его удовольствий было напомнить, что для выполнения какой-нибудь срочной внеплановой работы у сотрудников есть еще суббота, воскресенье и две ночи (типа «Сталин не спит, и вам спать не положено»), а слова «концептуальная схема» буквально бесили этого человека.

Да, так вот, в ходе интервью, за раскладкой пасьянса из карточек, наш собеседник выкладывал этакую мозаичную картину своей работы, мог карточки двигать, перемещать, и тем самым рефлексировать, ибо выявление устройства чего бы то ни было – работа рефлексивная. Делали они это, чаще всего, не молча, и вот тут начиналась социология.

Ну, то есть, волей-неволей мы были вовлечены в наблюдение. Конечно, никто даже не задумывался о запечатлении и сохранении результатов этих наблюдений. И это ужасно жалко! Некоторое время они существовали в лабораторном фольклоре, в нескольких замечательных «капустниках» по разным поводам, но теперь растворились в вечности. Если только у Лены сохранилось что-то... но она с тех пор несколько раз переезжала с квартиры на квартиру, так что вряд ли.

Но кое-что я помню. Например, по работе с моделью инженера химика-технолога. Заказ на эту модель мы получили от московского Института тонких химических технологий (МИТХТ), преподаватели которого, ученые, профессора, сформировали основную семантику модели, ее многоуровневые шкалы. В шкалу знаний, используемых в работе практикующими специалистами на местах, они включили экологические и информационные знания. Ну, что касается экологии, мы кое-что понимали, а вот с информационными были проблемы, потому что

понять и, главное, объяснить, что это такое в конце 1970-х—начале 1980-х годов мы не могли, ибо в окружающей действительности то, что потом стало информационным феноменом, еще полностью отсутствовало, и лишь слово откуда-то долетело, а люди из МИТХТ оказались чуткими к его явлению на нашей почве и включили в состав модели «опережающим порядком». Но ни нам, ни, тем более, нашим респондентам от того было не легче. Как-то выкручивались, что-то на пальцах поясняли. А с параметром «экологические знания» даже получили косвенно довольно существенный результат. Потому что выяснилось, что в те годы, да еще в отдалении от столиц, а для сбора материала мы ездили на эти производства в Горький, в Подмоскowie и еще куда-то, далеко не все работники химических производств знали, что это такое. Нет, само влияние химических производств на состояние окружающей среды ими понималось, но термина такого они не использовали, и такой категорией не мыслили.

– А! Это вы про выбросы, что ли, говорите? (Имелись в виду выбросы в атмосферу вредных веществ из заводских труб) – Бывает, да, занимаемся этим.

– Но ведь у вас семья здесь, дети

– Конечно, иной раз и задумаешься, что это все жуткая отравка, и надо отсюда уезжать, но пока работаешь – никуда не денешься: план выполнять надо.

Или вот еще «сгусток эпохи», правда, более поздний, когда мы уже занимались темой «Образ жизни специалиста с высшим образованием» (смех и грех от этих официозных названий). Уже не помню как, но в рамках этого задания удалось провести опросы в городе Иваново, на знаменитом Ивановском станкостроительном объединении, где директором был тоже знаменитый Владимир Павлович Кабаидзе. Завод тогда пытался строить автоматизированные системы, станки с «числовым программным управлением» (ЧПУ), и чтобы поддержать марку, им создавали оранжерейные условия, оставляли практически всю прибыль – на социалку, на технику, но все равно ничего не получалось. А у нас в отчете по эмпирическим данным выходило, что два ключевых отдела, конструкторский и технологический, так отличаются между собой по оснащению, поощрениям, вниманию со стороны руководства и т.д., что существуют как будто в разные научно-технические эпохи. Первые – уже с компьютерами, а вторые, тут же, за фанерной перегородкой – все еще с карандашом и бумагой. По уровню удовлетворенности условиями труда, если представить нормированную шкалу со срединной нулевой отметкой, то в конструкторском отделе большинство оценок было выше нуля, а в технологическом – ниже. Как сейчас вижу этот график с зубцами: одни смотрят высоко вверх, а другие – глубоко вниз. Ну, и в выводах было что-то про то, что надо готовить резерв для будущего нового руководства заводом, потому что вокруг Владимира Павловича, которого все обожали, и который мыслился такой глыбой, за которой завод был, как за каменной стеной, люди не видели «второго эшелона» руководителей, никакой новой поросли. Отчет отправили, а потом с завода звонили в партбюро института, и Елену Эмильевну вызывали «на ковер». Если я правильно помню, спрашивали, откуда взялся этот вывод, является ли он мнением коллектива или мы это сами придумали. Но никаких санкций для лаборатории, кажется, не было, потому что шла уже Перестройка.

Может, кто-то из «ответственных работников» все-таки чувствовал какую-то пользу от социологической «биопсии», ведь разрешали работать в ключевых местах, каким было Иваново, вот, даже отчеты читали, хотя, по всеобщему убеждению, ими интересовались только крысы в наших шкафах. С одной такой я однажды столкнулась буквально лицом к лицу, на верхней полке шкафа. Испугаться не успела, быстренько закрыла дверцу и решила не мешать ей расправляться с уже частично погрызенными папками...

Тут – не корысти ради, а токмо волею давнишней дружбы с Леной – я должна пропеть ей панегирик и воскурить фимиам. Лена вела себя исключительно осторожно, и в этом была большая мудрость, которой я тогда не понимала. Но доверяла ей и не противилась. Ведь ее трепали и в парткоме Института, и в Смольном, но на нас она никогда ничего такого не опрокидывала. Почти никогда. Мне один раз досталось за какой-то радикальный вывод. Ее талант (не зря у нее всегда были кошки, и о них она рассказывала с больши-и-и-м пониманием кошачьей природы!), так вот, ее талант – вести дело «мягкими лапками», но с железной хваткой, медовым голосом сообщать миру только то, что считает нужным, отстаивать только те интересы и цели, которые сама себе задала, и уверенно собирать вокруг этого группу. И, вот, люди, которые не были полностью лояльны общему делу, довольно быстро из лаборатории исчезали. Теперь мне кажется, что именно из-за этой осторожности она была не склонна сильно углубляться в теоретические дебри, чуя, что от этого могут быть лишние неприятности. Огородила себя как бы простеньким лейблом «я эмпирик» – и тут взятки были, в основном, гладки. А мне довольно быстро стало интересно именно теоретическое в социологии, хотя и эмпирической работой я тоже заниматься очень люблю. Потому что точно знаю: это всегда даст что-то, что мне еще неизвестно. Аж дрожу, когда получаю новый массив материалов.

Эта дрожь мне ой-как знакома; а иначе зачем искать? Помню, я еще студентом обработал ночью на ЭВМ материалы психологических измерений И. М. Палея и разглядел в результатах факторного анализа то, о чем он мне «на пальцах» рассказывал. От невозможности сразу связаться с ним я так «перегрелся», что вынужден был запихнуть голову в раковину и остужать ее водой из-под крана.

Оля, пожалуйста, расскажите мне о своем кумире Г. П. Щедровицком. Он меня и сам по себе интересуется (я его никогда не видел), и как студенческий друг Б. А. Грушина. Они, а также М. К. Мамардашвили и А. А. Зиновьев образовывали группу «диастанкуров»; я немного писал о нем...

Вы просите, Борис, рассказать о Георгии Петровиче Щедровицком.

Я принимаю этот высокий вызов, но буду рассказывать не столько о нем самом (ибо уровень моего знакомства с ним этого не позволяет), сколько, как написано в интервью выше, о его исключительном значении для меня лично как профессионала и как человека. Буду далее называть Георгия Петровича «ГП». Это не будет фамильярностью, так как это его законное именование для всех, его знавших.

Как ни странно, но ГП и то, что с ним связано – это попытка ответа на один из довольно рано отрефлексируемых моих «собственных» вопросов: как люди мыслят? Где-то выше я писала, что само возникновение в молодой голове собственного познавательного вопроса, вопроса к окружающему миру

вообще, было ощутимо необычным событием, и даже, кажется, вспомнила, что это был за вопрос. Но на самом деле, первым настоящим вопросом, на который мне хотелось получить ответ, был именно этот: как люди мыслят – словами или образами, как возникают мысль и смысл? Я даже задала его на одном и первых университетских семинаров по философии. Кажется, это был диамат, диалектический материализм. Ответа не помню, видимо, его по сути не было, да и по сей день вообще нет. Или пока нет, потому что искусственный интеллект уже есть.

Думаю, практически мгновенное принятие способа репрезентации смыслов, с которым в моей жизни появился ГП, стало так или иначе ответанием (не ответом) на этот засевавший в голове вопрос, изредка дававший о себе знать.

Отсюда же и моя любовь к Л. Леви-Брюлю, «Первобытное мышление» которого прочитала на первом курсе, чтобы лет через сорок вернуться к нему в собственной работе в книжке «Социальное бессознательное» (2005 год, в соавторстве с З. В. Сикевич и Ю. А. Поссель).

Мои преподаватели философии, а это, напомним, 1967–72-й годы, были с работами ГП знакомы, да он и сам бывал в Академгородке. Во всяком случае, имя это я слышала на занятиях и изложение каких-то тематических вопросов учебной программы усвоила уже в соответствующих акцентах и рисунках-схемах с характерными «человечками» как действующими лицами обсуждаемых процессов. Вот, например, схему того, что сейчас называют социальным изменением, показал нам Владимир Александрович Конев на лекциях по истмату. Не через классовую борьбу, как полагалось бы, а через изменение нормы. Причем эта измененная норма на схеме существовала вне основного процесса социального воспроизводства, в некоем отдельном пространстве, там формировалась и «возвращалась» в мейнстрим, тем самым изменяя его содержание. Инакомыслие, однако! и инакодействие «вшивались» тем самым в этот самый процесс. Что подразумевало и наличие «инакодействующих», которые в схеме и присутствовали в виде антропоморфных значков. Потом, в несколько более сложном виде, я такую схему видела и в работах ГП. И вот вам маленькая инъекция в мировоззрение, наверное, давшая позже свои ростки.

Какими-то путями идеи Московского методологического кружка иррадиировали по научному пространству Советского Союза, и вот уже в Ленинграде, при поступлении в НИИКСИ, а это 1974 год, имя ГП и рисование схем с человечками послужило мне пропуском в социологию. Впрочем, что значит «какими-то» путями? Сетевыми, конечно, – в том смысле, что социальные, а пуще того, профессиональные сети существовали всегда, и «эйдосы» разные в этих незримых колледжах летали по умам, как хотели. Точнее, как умели, в меру восприимчивости к идейной новизне.

А восприимчивость была, оттепельного и НТР-овского происхождения. И если первая «в верхах» уже иссякла, то вторая, наоборот, набирала обороты и ставила нешуточные задачи, в том числе, глобального противостояния политических систем, борьбы за космос и т.д., и только этим я могу объяснить, что в орбиту влияния московских методологов вовлекались все новые отрасли науки и практики – первоначально педагогической и спортивной, позже – градостроительной, управленческой, научно-производственной.

Это была уже не философия, а ныне широко известное явление, даже движение под именем «организационно-деятельностные игры» или ОДИ. Феномен ОДИ – это особого рода интеллектуальные коллективные игры, осмысленные как средство и метод решения сложных междисциплинарных, межпрофессиональных и даже межкультурных комплексных проблем, размышление над которыми «подкреплялось государственными и партийными установками», так как имело «важное народнохозяйственное значение». Игры эти сам ГП считал удобной и достаточно эффективной формой организации и развития коллективной мыследеятельности, называл новым социокультурным явлением современной жизни. Так пишут на сайте Фонда Г. П. Щедровицкого (<http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/49>), в таком значении ОД-игры исследуются и изучаются в университетах, и, скорее всего, практикуются в разного рода «think tank'ax». Потому что работа под девизом «Анализ техники решения сложных проблем и задач в условиях неполной информации и коллективного действия» может относиться к о-о-очень разным и в том числе, о-о-очень современным проблемам.

Так или иначе, в НИИКСИ, который, вот именно, НИИ комплексных социальных исследований, с конца 1970-х годов, кажется, персонально на имя Е. Э. Смирновой, стали приходить приглашения участвовать в работе ОДИ, как правило, образовательного профиля. И мы, сначала с Е.Э., а потом я одна, несколько раз в них участвовали – в Горьком, в Киеве, в Пушино и в Калининграде, последний раз – в 1988 году.

Я не сразу «въехала» в то, что происходит на ОДИ, да никто и не принуждал «въезжать», и это принципиально. Но со временем поняла, и расскажу здесь так, как понимаю.

ОД-игра – это довольно длительное, как правило на неделю плюс два выходных, мероприятие, в котором участвуют порядка сотни, а то и больше, человек. В структуре Игры есть общие, установочные заседания, работа в группах по разным разделам общей темы и несколько внешних оболочек, работающих в рефлексивном формате – в основном, для организаторов и исследователей Игры. Задач у Игры несколько. Это, конечно, достижение поставленных целей по заявленному содержанию – например, «Проектирование вуза нового типа для г.Пушино (1988)», но также это изучение процессов самоорганизации межпредметной, межпрофессиональной коллективной мыследеятельности и развитие человека в этих совокупных процессах. Да-да, развитие человека, участника этой деятельности, – тоже задача Игры, и это я могу подтвердить на собственном опыте, об этом ниже.

Сам Георгий Петрович произвел на меня – придется выразиться банально – сильнейшее впечатление. Прежде всего, тем, что простой и привычный мир в его устах вмиг превращался в клубок вопросов. Все, о чем он говорил, оборачивалось своей неизвестной стороной, всю нашу стабильную, рутинную, банальную, удобную, очевидную реальность он предлагал видеть через призму сомнения: а так ли это на самом деле? Называлось «проблематизировать» и относилось ко всему, что только выглядит очевидным.

С нашей последней встречи прошло почти 30 лет, а впечатление не ослабевает. Худой, подвижный, с лицом аскета, с острым, пристальным, почти сверлящим, взглядом и слегка грассирующей речью, великолепный лектор и полемист, он владел любым залом полностью, сколько бы времени это ни занимало.

В кругах, настроенных к нему и его делу негативно, бытует мнение чуть ли не об умственном принуждении аудитории к высказываемым принципам и положениям, но, думаю, это мнение тех, кто не мог понимать говоримое, реакция на непостигаемость смыслов происходящего, в сущности, реакция комплекса неполноценности. Я почти сразу уловила в Игре два потока смыслов, (на самом деле, их было значительно больше). Один – это коммуникация организаторов ОДИ между собой. Как с другой планеты. Понять их, особенно поначалу, было совершенно невозможно. Ибо это был густой, категориально непроницаемый извне язык – язык секты или экзегезы избранных. На самом деле, как и любой узкопрофессиональный язык, он рождался для описания нового способа бытия – методологии коллективной мыследеятельности. Разумеется, ощущение своего несоответствия этому их внутреннему существованию у сторонних людей могло возникать и возникало. Но при желании примкнуть в сообществу оно, в общем, могло быть реализовано и требовало лишь умственных усилий и практики.

Для ощущения важности, новизны и серьезности происходящего, для получения реальных результатов участия это было совершенно не обязательно, потому что этот самый результат каждый получал сам, и потому что с залом ГП говорил на другом языке – полностью понятном любому внимательному слушателю, с постоянным обращением к живым человеческим случаям и ситуациям, содержательно богатом и даже увлекательном. Мысль его, чрезвычайно разветвленная, за каждым поворотом открывала новые пространства смыслов, и каждый ее поворот означал наличие в этом месте некоего вопроса, проблемы, новизны, интереса – в общем, чего-то, раньше не замечаемого. Интеллектуальное удовольствие от этого «когнитивного детектива», да простится мне такое слово, было огромным. И этот дискурс я понимала полностью – не в том смысле, что исчерпывающе для того, что закладывалось автором, а в том смысле, что у меня не оставалось ощущения недоговоренности или барьера, за которым для непосвященных был обозначен «запрет на проникновение».

Работа на Игре в группах, принципиально межпрофессиональных (туда можно было записаться только по интересу к тематике, которая, в свою очередь, представляла собой содержательную декомпозицию общей проблемы Игры), заключалась в составлении доклада для заключительного пленарного заседания. Как составить такой доклад в группе людей, впервые видящих друг друга и представляющих разные сферы деятельности? Ну, понятно, каким-то образом объединив усилия. И вот это объединение усилий и было самым трудным делом, потому что ни на одном отдельном профессиональном языке комплексные проблемы практики описаны и решены быть не могут. Поэтому каждый из участников, попробовав сначала настаивать на своем профессиональном в дении проблемы, но, не добившись успеха и не подчинив себе группу, неизбежно вынужден был «выйти» из профессиональной позиции и участвовать в создании общего понимания и общего языка описания проблемной ситуации.

В группах работали и приглашенные участники, часто со всей страны, и члены методологической команды. Все на равных правах, только методологи, кроме работы по теме, вели еще и исследование игры, наблюдение за процессами содержательной коммуникации и интеллектуальной самоорганизации. Таким образом, в тематических группах, как в колбах, шли сразу несколько многокомпо-

нентных «реакций взаимодействия», «выращивались» сразу несколько структур коллективного интеллекта, коллективной мышледеятельности. Интеллектуальная возгонка иной раз оказывалась исключительно мощной.

Однажды, в мой приезд на игру без Елена Эмильевна, меня поселили в один гостиничный номер с девушкой из московской команды. После одного из рабочих дней мы разговорились, и проговорили, обсуждая ход игры, поставленную проблему и разные сопутствующие идеи, почти всю ночь. Наутро в нам зашел один из организаторов, поводит руками над моей головой и серьезнейшим образом констатировал ощущение огромного энергетического умственного, как он выразился, «столба». Только, – как он сказал, – очень неорганизованного.

Я ни в какой степени не признаю паранормальных явлений, но тут поверила. Во-первых, потому что лестно, а во-вторых, потому что ночь проговорили, а усталости никакой, и зарядки хватило на весь наступивший день. А вечером – танцы! И опять почти на всю ночь. И тут должна сказать, что работа на Играх, когда в нее втянешься, шла практически круглосуточно, а вместо сна – танцы, и танцы тоже планируются в программе мероприятия как «активный отдых», а на самом деле как еще один ресурс человеческой психики, когда дело рождает энергию, а не наоборот (не знаю, кто сказал, но мне нравится).

На третьей моей Игре, в Пушино, я умственно «разогрелась» до такой степени, что получила, прямо скажем, высокое признание и от москвичей-методологов, и от самого ГП – и за мои рефлексии хода игры, и за «умственный столб» (хорошо, что не столбняк), и за доклад нашей группы. С докладом получилось вот что. Как раз по теме «Проектирование нового вуза для Пушино». В групповой работе никто, конечно, за столами не сидит, люди то расходятся по углам и что-то обсуждают на двоих-троих, то сходятся, чтоб обменяться результатами, кто-то рисует, а кто-то просто слоняется – самоорганизация идет, как идет. И вот, в какой-то момент стало понятно, что, вроде, всё обсудили, а общей картины нет. И тут я обнаруживаю себя в центре круга, и на меня со всех сторон устремлены ожидающие взгляды моих товарищей. Ну, то есть, по структуре процесса должна состояться венчающая все это дело кода, и честь ее исполнить почему-то достается мне. И некуда деваться, ожиданий обмануть нельзя, и страшным усилием, собравшись сама и собрав все увиденное и услышанное в группе за несколько дней, сама себе не веря, излагаю идею и структуру завершающего доклада. Это было потрясающее чувство, да и доклад получился вполне достойным.

А на другой Игре, кажется, в Калининграде, случился вообще «инсайт», результатами которого я пользуюсь всю оставшуюся жизнь. Заранее прошу прощения за пафосный рассказ, так ведь и событие не рядовое. Работа в группе было очень трудной, много неясного, непонятного, никак не удавалось привести содержание в какой-то порядок. Вышла из комнаты, где работала группа, и долго ходила по полутемному, пустому, коридору, с расположенными вдоль стен удобными красными бархатными креслами (почему-то мне сейчас важно сказать, что там было комфортно находиться). И так, ходила туда-обратно по этому коридору, сосредоточившись почти до состояния медитации, а может, именно в медитации. И вдруг ощущение темноты и тумана в голове как будто полыхнуло светом, практически взорвалось – и на месте тумана возникла зримая картина мерцающей стройной Вселенной. И все. С тех пор этот ясный образ меня не покидает, мне

легко ориентироваться в других сложных ситуациях, как будто перемещаться по хорошо знакомому пространству, и скрепляется все это откуда-то взявшейся уверенностью в себе, которой раньше не было.

Ну, и скажите мне: разве этого не достаточно, чтобы подтвердить ощущение исключительной важности персоны Георгия Петровича Щедровицкого для того, кем я стала, как я себя понимаю и как действую? Ведь я самым непосредственным образом почувствовала в себе изменения, произошедшие благодаря тому способу существования, который создается в Игре. Так что задача развития человека, которую ГП ставил, в числе прочих, для ОДИ, в моем личном случае точно была решена.

Словосочетание «способ существования» встречается в разных моих текстах, но лишь недавно увидела статью М. А. Розова о Щедровицком, у которой в заглавии есть похожие слова – «способ бытия». И узнала, что Михаил Александрович Розов, мой преподаватель истории философии в НГУ, был близким другом ГП, что они познакомились еще в 1960-м году в Томске и, видимо, по этой связи он и бывал в Академгородке. Не могу исключить, что М.А. каким-то образом через курс истории философии транслировал определенные ценности или интерпретировал идеи, соотнося их так или иначе с интенциями Московского методологического кружка (ММК). А нам доставались, пусть и неявно, результаты этого внутреннего диалога. Возможно, это каким-то образом подготовило и меня к легкому восприятию и принятию картины мира с авторством ГП, причем на уровне фундаментальных понятий. И, конечно, понимание процессов такого рода – в данном случае, тайной жизни идей – имеет отношение к социологии знания, когнитивной социологии, формированию личности и т.д., – вопросам, которые меня увлекают более всего.

Даже не ожидала, что могу рассказать так много о влияниях «фактора ГП» на мою личную историю, но пора и честь знать, надо закругляться.

Г. П. Щедровицкий не был просветителем или культуртрегером, не «нес» новые знания и не пытался изменить мышление окружающих его людей, не «учил мыслить», как иногда говорят и как легко было сказать, скользя по поверхности. Нет, он ставил проблемы мышления как такового, обсуждал их не снисходя к предыдущей подготовленности аудитории (захотят – сами «дойдут») и он восходил от абстрактного, которым парадоксально выступали конкретные вещи реального мира, к конкретному – к тому, как должно быть. Так я это, во всяком случае, понимала. Предлагал проектировать это самое «как должно быть» – но не целевым, квази-марксистским способом, не предопределяя тем самым будущее, а самим процессом коллективной мыследеятельности, утверждая человека и человеческие коллективы в качестве субъекта истории, выращивая то, что я сегодня назвала бы гражданским обществом. Кстати, имя Карла Поппера в контексте предопределения истории, в те времена злейшего врага советской общественной науки, я слышала именно от ГП и, позже прочитав, совершенно влюбилась в исключительную четкость и ясность его (их обоих) мысли, в понятие интеллектуальной честности и превыше всего в своем мировоззрении ставлю – несмотря ни на что даже сегодня, во времена разгула преступного опрощения умов – веру в человека и его разум.

Была ли это «прогрессорская» работа в смысле братьев Стругацких? Думаю, что да. Само слово «прогрессор» иногда возникало в речах ГП, и это тройное «р» звучало, из-за его грассирования, особо раскатисто.

Как и многие, приезжая на свои первые игры, я задавала вопрос: «Что я должна делать?» И получала ответ: «Просто быть самой собой». Или, как писал где-то сам ГП по поводу установки на Игру: «Иди туда – не знаю куда, принеси то, не знаю, что. Это есть единственная формулировка (того, что следует делать – О.К.) и в Игре, и в любой другой проблемной ситуации». То есть: человека ставят перед открытой дверью, за которой – хочется сказать «дорога» – но как раз не дорога, а таинственное неструктурированное пространство, и в процессе его структуриации вы обретаёте другого себя, потому что на этом пути происходят события по формуле три «С» – самодеятельность, самоорганизация и самоопределение. Но это происходит только тогда, когда перед вами, действительно, проблема, то есть нечто новое, необычное, ранее не встречавшееся на вашем пути явление или препятствие. Это установка на жизнь как игру, как действие с открытым финалом, еще раз подтверждаемый отказ от предопределения результата. «Игра между людьми» как структурный принцип производящей системы, по Д.Беллу. И это есть, по сути, формула вероятностного процесса – движения, свойственного эволюции.

Что из этого всего имеет значение для меня не только лично, но и профессионально, для моей социологической работы? Потому что, еще раз скажу, что ГП совершенно не стремился к тому, чтобы все вокруг поголовно стали методологами или игротехниками. Ему казалось правильным, чтобы появлялись экономисты, психологи, управленцы и социологи с методологическим мышлением. Про социологов в этом контексте слышала от него сама. Итак, несколько вещей, важных для моей работы, я приобрела, просто пребывая в атмосфере ОД-Игры.

1. Слово «методология» для меня не пустой звук. Я очень строго отношусь к тому, как построить исследовательскую программу, чтобы получить релевантный результат, и учу этому студентов. Казалось бы, более чем естественная в науке вещь, но говорю об этом потому, что вижу попытки ниспровержения ее постулатов. И сюда проникает постмодернизм! И вот уже на коллегиальной страничке «Мануфактура СоцПох» в Фейсбуке, где обсуждаются методы социологических исследований, с изумлением читаю бурную дискуссию, в которой уважаемые коллеги подвергают сомнению эпистемологическую пару «объект-предмет» исследования, полагая ее инструментом пыток для аспирантов и ничего более. При этом недобрым словом поминают Щедровицкого (!), хорошо, что их своевременно поправляют Андрей Игнатъев и Виталий Куренной. Другое дело, что в огромном большинстве случаев в научных работах, в том числе, дипломах и диссертациях, эти важнейшие эпистемологические различия превращаются в ритуальные декларации и, на самом деле, не означают ничего, даже схоластики. А значит, не ведут ни к продуктивным гипотезам, ни к достоверным результатам.

2. Из других программных позиций особенно люблю момент проблематизации. Вот тут готова заменить дежурную «актуальность» всяческих «введений» на проблемную разработку. И понимаю, что далеко не все обладают самим по себе проблемным видением реальности, и далеко не всегда готовы понять и принять

его, даже молодые люди. Но вижу также, как у них загораются глаза, когда они начинают это понимать и видеть мир – да, полным драматизма, но и да, как свой рабочий стол, площадку постановки своих целей и принятия своих решений.

3. И, конечно, бесконечно благодарна ОДИ за осознание рефлексивности как способа социального и научного существования. Этот оборот сознания на себя, на понимание других людей, на метод работы, на самую мысль дает ни с чем не сравнимую уверенность в реальности собственного «Я» и ощущение своих возможностей.

А в заключение пропетого дифирамба не могу не признать с грустью, что все великое рано или поздно поглощается мелким. Полчища грызунов напозажают на вершины и перемалывают их в массовидный продукт. Как писали еще И.Ильф и Е. Петров в «Золотом теленке», параллельно большому миру существует маленький мир, который хочет быть созвучным эпохе и паразитирует на ней. Достойное имя дал им Пьер Бодриар – симулякры. Вокруг обсуждаемой темы симулякров тоже полным полно. Как и любое омассовление, они являют нам опошление замысла, выхолащивание прорыва, оглушение неофитов и, в конечном счете, имитацию, деформацию и анти-результат, каким была, например, пресловутая «гуманитарная технология» у нас в РГПУ. И вот с нового учебного года у меня в пед.нагрузке курс «Технологии воспитания»...

Но и большой мир изменяет свои благородные очертания. Если принять значение ОДИ как предлагал это делать ГП, то есть видеть в них средство и метод решения сложных междисциплинарных, межпрофессиональных и даже межкультурных комплексных проблем, (см. выше) то можно сказать: был намечен путь реформирования социальных и хозяйственных, а может, и политических структур через реальное участие людей в их преобразовании и одновременное развитие и саморазвитие субъектов этих процессов. Это была попытка ответа на сакраментальный вопрос «как в преобразованиях, перестройках, инновациях, и изменениях учитывать традицию» – да через людей же, блин! Через культуру и просвещение!

Но, видимо, проделать эту прогрессорскую работу в столь массовых масштабах, которых требует дело реформирования целой страны с глубоко отягощенной социальной наследственностью, либо невозможно, либо для латентной диффузии этих идей просто не хватило времени. И оргдеятельностное начало уступило традиционно командному, авторитарному, и теперь мы наблюдаем деградацию возможностей самоизменения российского общества.

Что интересно: при утрате уже намеченных возможностей самодвижения, то есть при поколебленной, но не завершенной трансформации нормы, произошло не восстановление предыдущей модели организации общества, а «отскок» глубоко в прошлое, архаизация чуть ли не феодального, а то и племенного типа. Незавершенность реформ, недосформированность нового прочного статуса нормы опасны тем, что ситуация не может просто вернуться на ранее покинутую позицию. Ибо её больше нет, нет тех условий, при которых она существовала. И распавшаяся, растекшаяся, нестабильная социальная материя в поисках твердой почвы сходит с рельс и мчится вспять, теряя по пути все цивилизационные приобретения. Культура обнуляется, а куда двинется от нуля – большой вопрос.

Что же будет противоядием? Да ничего. Средства и методы коллективной мыследеятельности будут использовать все, кому не лень. А не лень, в том числе и силам зла. Террористам, например, и фашистам у власти. И тогда что? Тогда — кто победит. Армагеддон. Игра или война между этими самыми силами. Со всех понятий сняты маркёры морали, добра и зла. С ужасом видим, как интеллектуалы служат Системе, даже не желая ей служить. Тезис «Культура имеет значение» в устах Е. Ясина, А. Аузана и А. Архангельского, совсем не то же самое, что в устах В. Суркова и иже с ним, «культурологов в штатском», ныне столь профессионально и эффективно разрушающих мозг нации, растлевающих ее с помощью «гуманитарных технологий» пропаганды и манипуляции. Потому что они тоже поняли, что культура имеет значение, и конструируют ее такой, какая нужна для сохранения их переродившейся монструозной власти. И это — не исключая — на базе глубокого познания человеческого мышления как такового.

Оля, выше Вы отметили: «мою кандидатскую Владимир Тимофеевич Лисовский увидел готовой». Интересно, что Вы исследовали и в силу каких обстоятельств Лисовский увидел ее лишь на последнем этапе? Я не за то, чтобы руководитель контролировал весь ход работы, помогал бы аспиранту готовить текст, но — мне кажется — что зачастую между старшим и младшим возникает потребность в обсуждении проблем, интересных обоим.

Ответ на этот вопрос будет не таким пространным, как на предыдущие. Тут все просто.

Кандидатскую я защищала в 1987 году, т.е. уже проработав в НИИКСИ больше 10 лет. Тема была непосредственно связана с нашей плановой работой, о которой я выше писала — «Моделирование профессиональной деятельности специалистов: на материалах исследований научных работников и инженеров». В аспирантуре я не училась, да и соискательство оформила уже когда стало ясно, что диссертация в целом сложилась. То есть никакой специальной дополнительной учебы с целью повышения квалификации до уровня кандидата наук я не проходила, а три года соискательства ушли фактически на сдачу кандидатских экзаменов и оформление всех процедур. К социологии кандидатские экзамены имели весьма опосредованное отношение, потому что такой отдельной научной специальности ВАК в 1987 году не было, и кандидат я философских наук по специальности «прикладная социология».

Все мы тогда защищались на философском факультете ЛГУ. Из-за модного, но еще не освоенного, модельного подхода научным руководителем мне назначили Виктора Александровича Штоффа — выдающегося специалиста по методологии науки и методу моделирования. Ему я сдавала кандминимум, и один раз мы встречались для обсуждения работы. Но, к сожалению, Виктор Александрович вскоре скончался, и в этот трудный момент руководство диссертацией подхватил Владимир Тимофеевич Лисовский, чем, конечно, оказал мне неоценимую помощь и поддержку. Однако с Владимиром Тимофеевичем мы к этому времени были уже в совсем иных отношениях — коллегиальных, а не ученических, тему диссертации он сменить не предлагал и, видимо, полагал, что особенно пристально руководить моей работой уже не нужно, т.к. она уверенно развивалась в рамках программы лаборатории у Е. Э. Смирновой. Общих научных проблем у нас, собственно, не было. Его область, социология молодежи,

и моя, социология профессий, практически не пересекались, по крайней мере, тогда. Кроме того, в качестве редактора нескольких институтских сборников он читал мои тексты, приглашал вместе с ним сборники редактировать – в общем, доверял, понимая, что не подведу. С его легкой руки одним из официальных оппонентов на защите был у меня Владимир Александрович Ядов. Он, правда, из Москвы не приезжал, но прислал текст отзыва. К великому сожалению, у меня не сохранилось копии, но, видимо, отзыв был положительный, коль скоро искомая степень у меня есть.

Я не знаю, как В.Т. руководил другими своими подопечными, но уверена, что не мелочно и не идеологически. Он был человеком, абсолютно открытым для тематического и проблемного разнообразия, и, по-моему, легко допускал существование вокруг себя «всего, что шевелится» – и в науке, и в просыпающейся общественной активности 1980–90-х годов. Помнится, что он не одобрял решений суда над И.Бродским, когда тот заклеил его как тунеядца («Поэт не может быть тунеядцем»), общался с неформалами, кришнаитами, вел с ними дискуссии, был знаком с Валерией Новодворской, говорил о ней с симпатией, называл ее Лера и «старая дисси». Очень скудная страница о нем в Википедии, но в других публикациях, особенно его коллег по лаборатории молодежных проблем в НИИКСИ, есть чудесные, теплые, эмоциональные очерки о нем.

Так случилось, что через 15 лет после кандидатской, уже при защите докторской диссертации, Владимир Тимофеевич согласился быть у меня официальным оппонентом. Но он покинул нас в мае 2002 года, и тогда, за месяц до защиты, меня опять «подхватил» другой благородный человек – Николай Генрихович Скворцов. Легкость, с которой он пошел на этот шаг, наверное, связана с тем, что он полностью доверял Владимиру Тимофеевичу в этом вопросе.

Итак, я не имею социологического образования, не училась в аспирантуре, соискательство тоже не стало серьезным образовательным этапом, и все же все ступени квалификационной лестницы до степени доктора наук я преодолела. Уверенно заявляю, что исключительно благодаря огромному интересу к социологии и тому, что называется самообразованием, а также опыту работы в кругу столь же увлеченных людей, моих коллег. Много читала, слушала, смотрела, старалась понимать то, что делают другие, и – извините за нескромность – думала. До много доходила, как Ляпкин-Тяпкин у Н. Гоголя, «своим умом». Но слабость теоретической, понятийной базы, фундамента профессионального мировоззрения, довольно долго сказывалась. Мне не хватало категориального аппарата, чтобы выразить какие-то интуиции, обосновать наблюдения, интерпретировать выявленные эмпирические факты.

Но время шло, и в середине 1980-х мы уже кое-что из зарубежной социологической классики и современной литературы имели возможность читать. Большим событием стало появление в 1983 году нового «Философского энциклопедического словаря». Курировали его, конечно, еще Л. Ф. Ильичев и П. Н. Федосеев, но среди научных консультантов и авторов уже были С. С. Аверницев, В. И. Гараджа, А. Г. Здравомыслов, И. С. Кон, А. Н. Леонтьев, А. Г. Спиркин и другие, новые по духу, люди. В Словарь оказались включены немало статей социологического содержания, и он вообще совершенно иначе представил философское и социальное знание. Ну, например, статью «Социализм» писал известный и популярный тогда политолог и политкомментатор Александр Бовин, а статью «Социоло-

гия» – Игорь Кон. Я бы и сегодня назвала Философский словарь 1983 года предвестником Перестройки, развернувшим советскую картину мира пост-тоталитарным образом. Прямо, чуть ли не Энциклопедия в духе Дидро и Вольтера. Помню, как мы с кем-то из сотрудников лаборатории специально ехали в магазин Политиздата, купили сразу несколько толстых томов – чтобы на всех, и возвращались с ними в институт откровенно счастливые. Позже начали издаваться труды коллектива под руководством Ю. Н. Давыдова («Буржуазная социология на исходе XX века», 1986 г., потом, в 1990-е – 4-томник «История теоретической социологии») и это была уже серьезная база для того, чтобы социология не сводилась только к опросам. Но в середине 1980-х многое приходилось все же изобретать на ходу.

Чтобы исследования по моделированию профессиональной деятельности могли считаться научной работой, а не просто утилитарным измерением каких-то поведенческих актов, понадобились определенные понятийные конструкции и концепции, обобщения, наделенные социальным смыслом. На этом пути эмпирическое моделирование с помощью многомерных шкал удалось осмыслить, как мне теперь кажется, в рамках проблемы, имеющей словарное название «структура и воля» (взаимодействие субъекта действующего с объективными системами функционирования), развести понятия «специальность» как область знаний и «профессия» как вид деятельности, понять профессию как социокультурный феномен, ввести позицию индивидуального субъекта в интерпретацию процессов развития профессии, связать остро стоявшую проблему адаптации молодых специалистов с застойным характером экономики и показать неизбежность нормативных трансформаций в профессии, осуществляемых некими (слово перестроечной эпохи!) инноваторами. И все это – не голословно, а с эмпирическими репрезентациями.

Защита была успешной, утверждение пришло быстро – но 15 лет спустя, на докторской, многое из диссертационного процесса выглядело уже совсем по-другому.

Нельзя ли здесь подетальнее? На какую тему было Ваше докторское исследование? Это уже было начало 2000-х, уже можно был писать «пошире», не опасаясь быть обвиненной в ревизионизме и позитивизме...

Докторская – это целая эпопея, маркированная историей и генеральной линией. Только она связана не с ревизионизмом и позитивизмом, а с политикой, к чему я совершенно не стремилась. Но так повело себя Время.

Время на этот раз было постперестроечное, кризисные или, как потом будут говорить, «лихие 90-е». Богатое слово. Здесь «лихо» – как горе и преступление, и «лихость» – как бесшабашная смелость и азарт. В общем, так и было. Для меня и моих друзей – полное оптимизма счастье движения, открытости, человечности, разрыва с душным социально-патологическим советским строем. Но жить было трудно. В науке одно время практически перестали платить зарплату, плановой работы было мало, зато было много свободного времени, которое я тратила на чтение – всего, что было интересно, захватывало, цепляло. И вот, «зацепило» понятие гражданского общества – феномена, о котором были слабые воспоминания из истории философии, но не больше, а тут оно возникло как реальный социальный проект и стало мне, можно сказать, путеводной звездой. А выража-

ясь методологически – объяснительной концепцией и познавательной установкой практически для всего, чем я и просто интересовалась, и занималась в науке к этому времени уже лет десять. Это: синтетическая теория эволюции (Дарвин плюс генетика, палеонтология и др.) и эволюционная парадигма в социологии; теория семиосферы Ю. М. Лотмана, динамика ценностей в постсоветский период (западно-восточная дилемма, патриотизм, коллективизм, государство, социальная субъектность); с 2000 по 2005 – не боюсь этого слова, прорывной проект по гранту РФФИ «Социальное бессознательное» с З. В. Сикевич в НИИКСИ, несколько крупных исследований по состоянию школьного образования в Санкт-Петербурге, в Академии постдипломного педагогического образования с Е. Э. Смирновой (АППО – бывший Институт повышения квалификации учителей). И в какой-то момент поняла, что все это так или иначе соотносимо с задачами развития гражданского общества в стране.

Ничего странного я в этом не вижу. Даже эклектики не вижу, в которой меня потом упрекали, потому что если смотришь на социум как объект познания, пусть даже на разные его стороны и ипостаси, то рано или поздно можешь связать каким-то общим контекстом, а конкретные участки заполнять, как пазл, изученными картинками реальности. Думала об этом, что-то писала, публиковала, а что-то писала, не рассчитывая на публикацию, просто из интереса к проработке идеи. О следующей диссертации не думала, к карьере не стремилась, с амбициями у меня вообще плоховато. Но старшие товарищи подталкивали, особенно Лена Смирнова, к этому времени ушедшая в АППО и перетянувшая меня туда же, и заведующий кафедрой в АППО после нее В. В. Тумалев. И как-то все начало двигаться – и текст (довольно быстро), и процедура.

И был спусковой крючок, который помог все ранее наработанное между собой связать.

Когда в стране была объявлена Перестройка, мне стало скучно. Подумала: ну, вот, всё и налаживается, не надо никакой борьбы, никакого сопротивления несправедливости, начинается рутинная, правильная, размеренная жизнь. Но довольно быстро стало ясно, что никакой размеренности и скуки не будет. Общество что-то принимало, а от чего-то отказывалось, оно не собиралось «брать под козырек» даже тогда, когда открывалась дорога к лучшему. Стало ясно: оно живое, со всем заморочками живого. Такое же живое, как природа. И реально возможными станут только те изменения, которые примут люди. Успех преобразований зависит не только от целей и идеологии реформ, но в решающей степени – от реакции и рецепции их людьми. Наивно? – Наверное. Особенно глядя из сегодняшней реальности. Но сработало, и определилась тема: «Человеческий потенциал гражданского общества в современной России. Антропоцентрический критерий социальных изменений». Такая проблема макро-микро-отношений в духе Дж. Ритцера, но это я узнала уже потом.

Вот что удалось показать в диссертации как научный результат, напомним, что это конец 1990-х, самое начало 2000-х годов:

Теоретически: в дополнение к структурному пониманию общества была предложена концепция «Общество как процесс» или как большое число процессов с двойной детерминацией: спонтанного «естественного», квазиприродного самодвижения и саморазвития – и целевого, «искусственного», технологического, технократического конструирования и управления.

Гражданское общество толковалось как особый социальный и социокультурный эволюционный феномен и в силу этого понимания утверждалось, что его возникновение в России неизбежно, а его терминальным смыслом являются изменения микроуровня социальной реальности и изменение человека.

К этому прилагались эмпирические доказательства наличия благоприятных и неблагоприятных предпосылок к гражданскому обществу в массовом сознании. В первом случае – универсальные цивилизационные установки, вполне свойственные и нашим людям тоже, а во втором (Боже! Все те же сны..., а это почти 15 лет назад) – унаследованные от исторически длительной автократии институты и установки: задержка, в том числе, искусственная, социального развития, сохранность бюрократической регуляции и архаических семейно-клановых отношений общинного типа (гемайншафт) на месте современных функциональных социальных отношений (гезельшафт); воспроизводство личности с сильным комплексом авторитаризма и чувства превосходства; недостаточная рациональность мышления (гипертрофия бессознательного и мифологизированного мышления, замещение ими сознания), незрелость диалога общества с государством. Ну и так далее – про магистральный путь цивилизации, предсказанный еще И. Кантом, необходимость свободы как условия возникновения и отбора продуктивных новых форм социальности и т.д.

Ну, Вы же понимаете...

Два раздела по проблемам и предмету исследования были сверхновыми: школа как модель гражданского общества и социальное бессознательное как атрибут современной ментальности – привет еще от детской любви к Л. Леви-Брюлю, но с результатами, достающими аж до сегодняшней фантазмагорической действительности. Социальное бессознательное мы изучали в НИИКСИ два грантовых срока подряд. В этом проекте я пыталась идти вслед знаменитой теореме Э. Геккеля о «повторении» филогенеза в онтогенезе человека, т.е. основных базовых форм развития вида в развитии индивида или позднейших популяций, и сопоставляла архаические когнитивные установки с современными, в том числе, в детской и взрослой картине мира. Были проделаны еще кое-какие академические штудии, но также имел место анализ свежих, только что сложившихся представлений людей о нашем нынешнем президенте. Да-да, ВВП. Оперативно включили тогда в анкету открытый вопрос о его роли в спасении подводной лодки «Курск» и получили нечто серьезное.

А именно: увидели сам момент складывания основных мифов об этой персоне и основных мемов, работающих до сих пор. Прежде всего, это формирование идентификации «он свой», причем тогда – для каждого по-разному свой, потому что в неопределенных смыслах его личностного статуса и речей каждый вычитывал свой месседж. Он был такое туманное стекло, и распознающий взгляд видел в нем то, что хотел видеть. На этой «свойскости» очень быстро выросло знаменитое «Кто, если не он?», и оно уже присутствовало в наших материалах 2001-го года. Нашлись уже и устремленные к его образу эмоции надежды и даже любви, а также вполне осязаемые черты мифологического образа Героя и Спасителя отечества.

В общем, боюсь, эта работа оказалась в числе тех, которые невольно подсказали конструкторам имиджа президента самые перспективные направления его раскрутки, а что в этих конструкторских think-танках утилизируют все, что выявляется опросами, не сомневаюсь.

Сейчас перечитала – поразительно, насколько все, тогда сказанное, действительно и для сегодняшней ситуации: «Респонденты с низким уровнем доверия президенту (тогда примерно треть от общего числа опрошенных в Санкт-Петербурге – О.К.), считают основой его поддержки качество народа: четверть всех ответов и 2-е место в ранговой структуре отведены характеристике сообщества, избравшего такого президента. Причем существенная часть этих оценок уничижительна, состоит из выражений в спектре от высокомерия до бессильной ярости: не понимают, что происходит в стране, низкий уровень культуры, образования, интеллекта, хотят Сталина, жесткой руки, дураки, глупцы, думать лень, идиоты, серость, быдло».

Читать это и тогда, и сейчас неприятно, тем более, что часть этих скептиков премилым образом сегодня переместились в стан с восторгом доверяющих, а кроме того, они сами 15 лет назад тоже были заражены глубоким патернализмом, что и было выявлено дискурс-анализом их ответов.

Я тогда быстренько написала статью на этих материалах и отнесла в журнал на социологический факультет СПбГУ. Там ее встретили буквально с восторгом, но долго тянули с публикацией, а потом и вовсе отказались печатать, пряча глаза при моих недоуменных вопросах. Видимо, она пошла куда-то на согласование – и не согласовалась. Но в диссертацию этот раздел вошел как элемент анализа обстоятельств, препятствующих становлению гражданского общества.

Защита прошла прекрасно, все отзывы были высоко положительные, в том числе ведущей организации, подписанный В. А. Ядовым, и Бориса Максимовича Фирсова как официального оппонента. Многие выступавшие обозначили свое отношение к моей работе самыми ценными для меня словами: «это интересно». Но дальше, с утверждением диссертации в ВАКе, «что-то пошло не так». Через полгода пришло не утверждение, а запрос на оригиналы моих работ, на базе которых написана диссертация, еще через полгода последовал вызов в Экспертную комиссию ВАК для собеседования. К этому моменту уже стало понятно, что дело плохо.

Поскольку восемь месяцев, отведенные для рассмотрения работы, прошли, я получила право поинтересоваться, что происходит, позвонила в ВАК и имела разговор с милой дамой – руководителем нужного мне отдела. В ходе разговора, касавшегося деталей процедуры, я вдруг услышала какие-то неформальные слова, сказанные как бы между прочим и как бы не мне, потому что совсем другим тоном голоса: «Не нравится работа. Ну, не нравится». Как говорил Гамлет, – «Вот и ответ!»

На заседании Экспертного совета мне были предъявлены две основные претензии: 1) несоответствие публикаций требованиям ВАК (книжка, в которой изложены основные результаты диссертации, вышла не как научное издание, а как учебное пособие, а две другие – коллективные монографии, название которых не отражало тему диссертации). Мои объяснения по этому поводу, кажется, Совет устроили. И 2) несоответствие содержания диссертации «Паспорту специальности».

Паспорт специальности – это такая головная боль всех защищающихся. Это документ, расписывающий все известные нам науки по основным предметам, темам и проблемам исследования. Основная цель – провести и соблюдать границы научных отраслей и дисциплин, и в целом это законное требование с точки зрения организации экспертизы и вообще поддержания структуры научного знания. Но с другой – это свидетельство большого произвола в членении знания, когда большая часть реальных исследований проваливается между ограждениями, не попадая ни в одну ячейку этой дисциплинарной клетки. Я знаю немало работ, которые испытывали трудности с защитой именно по этой причине. Приходится подгонять реальные исследования под эти границы, уродовать их в угоду мало изменяемой, негибкой, системе, что попросту тормозит развитие науки. Хорошо себя чувствуют в этой научно-бюрократической сетке только те, кто «делает» диссертацию целенаправленно, а не занимается исследованиями как таковыми.

В моем случае несоответствия паспорту, на самом деле, не было, потому что проблематика гражданского общества была обозначена в паспорте специальности 22.00.04 – социальные структуры, институты и процессы, по которой я и защищалась, и уж именно обо всем этом и шла в диссертации речь. Но Экспертное мнение комиссии этого «не заметило». Результатом стало решение Совета о том, что моя диссертация не является социологической работой, а, в лучшем случае, является философской. Мне было предложено оставить ее на дальнейшую экспертизу, теперь с участием экспертов-философов, с тем, чтобы попытаться переквалифицировать ее на дисциплину «социальная философия».

Но я никак не могла с этим согласиться – ни по сути, ни по форме, потому что это могло поломать всю дальнейшую профессиональную жизнь, к тому времени уже связанную с Герценовским университетом (РГПУ им. А.И.Герцена). К тому же меня сильно мучило, что я не смогла вступить с Экспертным советом в дискуссию по этому поводу. Главным образом потому, что общая обстановка на Совете меня просто смяла и раздавила, я лепетала что-то малосущественное и фактически провалилась.

Впрочем, я не уверена, что смогла бы переубедить большинство собравшихся. Кажется, их решение было подготовлено без расчета на возможность согласования позиций.

Судите сами. Пока я, сидя в темном коридоре, ожидала вызова, из-за дверей доносился истошный крик: скандальный женский голос докладывал Совету обстоятельства моего аттестационного дела. В мое отсутствие, поэтому я даже не знаю, что именно там говорилось. Когда я вошла, мне было предложено рассказать, в чем состоит новизна моей работы, и далее были заданы вопросы. Все это – не познакомив с экспертной оценкой, что лишало ситуацию контекста. Кажется, я сломалась уже здесь: в чем смысл изложения новизны, если она сформулирована в автореферате, введении к диссертации и в Заключение диссертационного совета? Стало понятно, что никто не собирается обсуждать со мной сути дела. В результате о новизне я рассказала очень плохо, сумбурно, неточно и не главное, т.к. практически не владела собой. На вопросы отвечала лучше, но они не касались сути проблемы.

Большинство вопросов носили почти экзаменационный характер: что такое ментальность, как я понимаю социальное бессознательное, существует ли вообще гражданское общество – «ведь многие считают его только метафорой», а также почему я определяю предмет исследования так, а не иначе. По мизансцене, по интонации, по анонимности происходившего (надо ли говорить, что никто из них не представился?) – все это совсем не походило на разговор между коллегами, пусть даже и разного ранга, в «общественно-научной организации», каковой называет себя ВАК. Меня распекали, как школьницу за то, что я чему-то там «не соответствую».

На этом собеседование закончилось, и я отправилась в коридор ждать решения. О том, что моя работа квалифицируется не как социологическая, а как философская, мне было объявлено как о решении большинства членов Совета. Даже и в этот момент можно было спорить, но я была настолько деморализована, что не смогла повернуть ситуацию в эту сторону. Хотя, повторяю, была полностью готова аргументировать социологический, то есть научный, а не философский характер моей работы. Это же хрестоматийные вопросы. Я студентов учу различать науку и философию! Но, видимо, у Совета другие хрестоматии.

На мой вопрос, что заставляет считать работу философской, единственное, что я услышала от дамы, которая, кажется, и была главным экспертом, дословно: «Мы как социологи с трудом читаем Вашу работу, мы ее не понимаем. Мы на социологическом факультете так не учим»... Получалось, что диссертацию, которая как жанр научной работы призвана сообщать нечто новое, следовало писать так, как уже учат, причем у них на социологическом факультете... Социологические факультеты открылись в российских вузах в 1989–90-м годах, я работаю в социологии, в научно-исследовательском институте с 1974 года, а они собрались учить меня социологии... В общем, было понятно, что все это лишь повод к отклонению работы или переводу ее в другое русло.

Я, конечно, советовалась со знающими людьми, близкими и друзьями, как мне все это понимать и как быть. Один из них, известный историк Рафаил Шоломович Ганелин, друг нашей семьи, был уверен в идеологических причинах происходящего и решительно рекомендовал написать обо всем В.А.Ядову, поскольку дело касалось уже и Института социологии, давшего положительный отзыв, как выясняется, не по профилю! Таких моих писем Владимиру Александровичу было два, но его ответы, короткие записки mail'ом, к сожалению не сохранились, т.к. я не догадалась перенести их в документы. Помню, что он адресовал меня к З.Т.Голенковой, которая занималась гражданским обществом и была экспертом ВАК. Но к ней я не обращалась.

В результате передо мной встала дилемма. Скорее всего, философы не признают работу своей (и будут правы). Но я ни в коем случае не пойду на защиту, то есть не стану забирать работу и «переписывать ее под социологию», как выразился один из членов Совета. Им придется ее отклонить, и я буду оспаривать это решение. Перспектива рисовалась безрадостная. А надо сказать, что само написание диссертации доставляло мне, вот именно, истинную радость. Я чувствовала себя полностью свободной, никакого цензора в чернильнице, только собственный строгий контроль содержания с научной точки зрения, что

я делаю неукоснительно и дотошно. А тут мое гордое чувство свободы встретилось с прокрустовым ложем то ли научной бюрократии, то ли идеологической цензуры – один чёрт.

Выход нашелся вот какой. Председатель диссертационного совета, где прошла защита, Алексей Васильевич Воронцов, которому тоже это было все неприятно, т.к. бросало тень на Совет, и более того: как человек опытный он даже предположил, что атака, на самом деле, на Совет и нацелена, отправил меня советоваться к проректору РГПУ, Владимиру Валентиновичу Лаптеву, который был членом Президиума ВАК. К Владимиру Валентиновичу я пришла не с пустыми руками, а с письмом, в котором выдвинутые мне претензии проанализировала. Спокойно, аргументированно и, я бы сказала, объективно, потому что писала о междисциплинарном характере проведенных исследований, соглашалась с трудностями идентификации предмета исследований в жесткой системе координат, а также (вот, нахальство!) разъясняла-таки различие философского и научного знания. А в качестве решения, «принимая во внимание трудности уважаемого Экспертного совета», предлагала переквалифицировать работу на другую, но все же научную специальность – социологию культуры. Тем более, что по паспорту этой специальности там фиксировалась проблематика социокультурной эволюции, о которой в диссертации было много чего.

Владимиру Валентиновичу это откровенно понравилось, он по базовой специальности физик, что касается науки и философии оказалось ему близким, и он взялся мне помочь, что и сделал, как мне показалось, даже весело. Говорил мне потом, что тоже выдержал в ВАКе бурную дискуссию о науке и философии, и, видимо, в ней победил. В результате меня утвердили. Теперь я имею автореферат, изданный по специальности «социальные структуры, институты и процессы», а докторский диплом по специальности «социология культуры».

С этим багажом живу и работаю в Герценовском университете, преподавание далось мне сначала очень нелегко, но со временем превратилось во что-то, что я даже не могу назвать «преподаванием». Чаще всего со студентами от 1-курса до магистратуры (но первокурсников люблю особенно), я просто разговариваю о том, что нам всем сегодня важно понимать, и что социология – это такая наука, которая позволяет делать это осмысленно.

Прошло более 10 лет после Вашей защиты, но – по тексту видно – Вы до сих не совсем остыли от тех событий... но все хорошо, что хорошо кончается. Чем же оказались наполнены прошедшие годы? Какие новые курсы Вы читаете? Как изменились студенты?

Если предшествующий сюжет, с утверждением докторской, получился слишком эмоциональным, то это не потому, что до сих пор не успокоилась, а потому, что тогда же все записала, в том числе, с терапевтической целью, чтоб выкинуть из головы.

Что дальше? Дальше началась другая профессиональная жизнь – университетского преподавателя. Некоторый опыт преподавания к этому времени у меня уже сложился, опять с помощью Лены Смирновой, которая, уйдя из НИИКСИ, стала заведовать кафедрой социологии в Университете педагогического мастерства (ранее Институт повышения квалификации учителей, а позже – Академия постдипломного педагогического образования), и позвала меня к себе сначала

на работу по совместительству, а потом и на полную ставку. Связь с НИИКСИ сохранялась, т.к. с 1996 года меня взяла к себе в лабораторию этносоциологии Зинаида Васильевна Сикевич. Хотя я ни в какой степени не считаю себя социологом этничности, все эти годы – до сих пор, то есть до фактической ликвидации НИИКСИ, – мне удавалось вести в ней некую общесоциологическую тематику.

Академия, ее слушатели и ее учебный процесс по сравнению с научной работой в НИИ стали довольно серьезным испытанием. Вольное умствование научной жизни пришлось сменить на «рамочное» существование преподавательской – со строгим графиком, планированием каждого рабочего дня с точностью до минут и очень высокой ответственностью за каждое сказанное слово. Каждый раз, как на экзамен.

Моей первой аудиторией стали социальные педагоги – нарождавшаяся тогда, новая для постсоветской России профессия, специалисты по координации воспитательных усилий школы, семьи, медицины, правоохранительных органов и т.д. Предполагалось, что они должны стать консультантами довольно широкого профиля, помощниками для всех, но, главным образом, для детей. Специалисты такого рода есть во многих школьных системах за рубежом, и их роль в успешной учебе и социализации очень велика. Я бы даже сказала, что это как раз специалисты по успешной социализации детей.

Итак, в аудитории – взрослые люди очень разного возраста, от 20-ти до чуть ли не 70-ти и очень разного профессионального происхождения. Выпускники педагогических училищ, бывшие и нынешние учителя, пожелавшие приобрести дополнительную квалификацию и направленные на эту учебу официально, бывшие пионервожатые, работники закрывавшихся из-за экономических кризисов предприятий, даже отставные офицеры. В основном, конечно, женщины, но и мужчины тоже. Нередко оказывалось, что они как будто всю жизнь только этим и хотели заниматься – так им нравилось это новое поприще. А оно, и в самом деле, мыслилось как занятие в высшей степени благородное, ибо такой единой инстанции, которая стояла бы на страже интересов детей и была призвана защищать эти интересы, раньше не существовало.

А вот кого не было среди вновь набираемых социальных педагогов, так это административных работников образования, эти из системы не выпадали никогда, даже если система вдруг начинала со скрипом разворачиваться к какой-то другой жизни. А в 1990-е она именно разворачивалась. И социальные педагоги были именно педагогами, а не соцработниками и не связными инспекторов детских комнат милиции, как, кажется, это стало сейчас.

Читала я этим людям курс, названный бесхитростно «Общая социология». Что такое общая социология я по сей день не знаю. Но поскольку никакой другой социологии для этих групп предусмотрено не было, я была достаточно свободна в определении содержания своих занятий. В результате сложился курс «Базовые понятия социологии», с помощью которого удавалось не только познакомить слушателей с содержанием науки, но и показать, как эти понятия можно применять для анализа реальности общества и его проблем.

И применяли! На практических занятиях мы занимались чем-то вроде ситуационного анализа – фиксировали и анализировали проблемные ситуации, с которыми социальные педагоги к этому времени реально работали. Я предложила им писать Дневники наблюдений, объяснив, как это делать более или

менее методически и технически грамотно, и на занятиях мы разбирали эти ситуации. Работал их «коллективный разум», а я со своей стороны показывала, как можно использовать для понимания ситуаций социологические знания, термины и понятия.

Довольно быстро выработался алгоритм анализа и оценки степени полноты и точности применения социологического аппарата, так что это были не просто «разговоры в учительской», а все-таки тренировка в овладении социологическими знаниями. А кроме того, в этих обсуждениях у меня на глазах рождалась профессиональная культура социально-педагогической работы – с воспитательными установками, ценностями, построением организационных систем, систем принятия решений и т.д.

После проверки, а точнее, написания аналитического отзыва на Дневники наблюдений, я отдавала их слушателям обратно, но мои конспекты этих работ, заметки и рефлексии по многим разобраным ситуациям сохранились. Недавно был повод в них заглянуть, и было удивительно видеть, какой насыщенности это материал, сколько детских судеб оставили свои следы, как ясно видны характеры взрослых участников этих ситуаций, в том числе, самих педагогов, и, главное, характер времени, в которое все это происходило, с его дефицитами всех видов – экономическими, педагогическими, правовыми. В сумме – яркая, сложная, тревожная, одновременно и уникальная, и универсальная ситуативная картина социальных трансформаций, отраженная в индивидуальном бытии, на микроуровне социума и его действующих лиц.

Академия несла миссию подготовки социальных педагогов очень ответственно, и не только обучала их, но и исследовала реальность этой профессии. Совместно с кафедрой педагогики социального творчества (вот так это красиво и небесмысленно называлось) удалось тогда, применив наработки НИИКСИ по моделированию профессиональных деятельностей, провести довольно большое профессиографическое исследование и создать модель профессиональной деятельности социального педагога. А поскольку в Академии две эти инстанции – образовательная и исследовательская – были организационно едины, а руководили ими энтузиасты своего дела Людмила Серафимовна Нагавкина и Светлана Анатольевна Косабуцкая, то и модель социального педагога органично легла в основу системы их подготовки.

Однако вернемся к преподаванию. Это будет рассказ о способе существования социологии в ее популярной и просветительской форме.

Вот какие элементы социологического знания составили в результате основу курса «Базовые понятия социологии» и аппарат, которым мы со слушателями пользовались для их профессиональных целей: природа и культура (здесь для моих слушателей было множество открытий), нормы и ценности как средства социальной регуляции, социализация (в том числе, школа как агент социализации с очень хорошими собственными эмпирическими данными, относящимися ровно к тому времени и месту, в котом осуществлялся этот конкретный учебный процесс и работали его участники), стратификация, институты (уже по Д.Норту), группы и другие общности (популяция, масса), общество, гражданское общество, общественное мнение, социальные изменения. Согласитесь – это же прелесть,

а не курс. Самое интересное, самое важное, самое научно ценное и в то же время интуитивно очевидное, то есть позволяющее опереться на неявное социальное знание, которое мы все имеем.

Прототипом такого курса – «социологии всего и для всех», особенно для непрофессионалов – была, конечно, книжка Яна Щепаньского «Элементарные понятия социологии», изданная у нас в 1969 году. Вообще первая книга по социологии, которую можно считать учебником до всех других учебников и за 20 лет до того, как в стране начали обучать социологии. Я ее купила в свое время в Академгородке, учась еще на 3 курсе НГУ, за 94 копейки советских денег. Среди моих сокурсников она стала бестселлером, и следы ее многочисленных чтков в буквальном смысле хранят страницы.

В своих книгах, не библиотечных, я считаю возможным отчеркивать места, привлечшие внимание, к которым потом нужно вернуться. Но все-таки делала я это обычно карандашом, чтобы можно было стереть. Сейчас – увы – шариковой ручкой, потому что карандаш сильно пачкает страницы, а вообще, теперь уже, как правило, копирую тексты в Word и отмечаю цветовым фоном, что совсем удобно. Те, кто читал мою книжку Я.Щепаньского после меня, тоже карандашиком что-то в ней подчеркивали. И вот теперь ее можно читать, как минимум, на двух уровнях рефлексии – как первичный авторский текст и как текст со следами познавательной работы читателей: мы увидим, что было для них важным тогда в конце 1960-х – начале 1970-х годов, что отвечало на вопросы в области знаний об обществе и не находило ответа в официальном социальном знании. А подчеркнуто в ней очень и очень много, практически на каждой странице такие пометки есть.

Вот она, эта маленькая книжка, лежит сейчас передо мной, и я попробую ее открыть на каком-то случайном развороте. Погадаем. Страница 72 (раздел «Социологическая концепция человека и личности»). Подчеркнуто: «Влияние биологических и психологических черт на выполнение роли было предметом многих эмпирических исследований, и — говоря кратко — не подлежит сомнению, что они отражаются на выполнении ролей...». Моя это пометка или кого-то другого, не ясно, но ясно, что выделен смысл, оправдывающий индивидуальность человека, и не только психологическое начало, но и биологическое. Это же совсем другое дело! Что-то мы ничего подобного не читали у К. Маркса, а на экзамене отвечать приходилось «по Марксу». Подчеркнутый текст открытия на сегодня, может, и не содержит, хотя по-прежнему имеет нормативно-институциональное значение, но во времена «единственно верного учения», с его необходимостью трактовать сущность индивида анти-индивидуально – как совокупность всех общественных отношений, т.е. с позиции структурного супер-принуждения и сверхсоциализированности, подобное могло быть сочтено не просто ошибкой, а идеологической ошибкой.

В общем, своим взрослым слушателям я, наверное, что-то рассказывала о социологии по-человечески, за что и имела результат: мои разновозрастные группы хорошо посещали занятия, внимательно слушали, активно обсуждали и меня этим вдохновляли. А вдохновлять надо было, потому что страха я натерпелась изрядно.

Было очень трудно. Несмотря на то, что никакого освоения нового материала не требовалось и необходимое знание у меня для этого было, однако его предстояло рассказывать, передавать, заботиться об усвоении, понимании и т.д. То, уже совершенно естественное «облако смыслов», в большой мере синкретическое, переплетенное с практикой, следовало разобрать по ниточкам, вербализовать и донести до совершенно не подготовленной к этому аудитории доступным образом. И так донести, чтобы это не было знание, пригодное только для сдачи экзамена, а чтобы оно работало на понимание и вызывало вопросы «по жизни». И вопросы были, и этот результат я ценила более всего. За хорошее вопросы обещала сразу пятерку ставить, и пару раз ставила.

Больше всего я боялась, что мне нечем будет заполнить «пару» в полтора часа, а получалось наоборот, мне было никак не втиснуть в полтора часа то, что уже хотелось рассказать. От этого ужаса я почти не слышала поначалу, что говорю, с трудом контролировала себя, лихорадочно вспоминая, что там впереди по теме. А кроме того, я вообще не понимала, как я могу учить людей, которые часто были старше меня и сами были учителями. И смех, и грех. Не знаю, как это бывает у других, но для меня было большим стрессом.

Однако, научилась постепенно. И мои слушатели мне в этом помогли. Иной раз, в ответ на начальное «Тема лекции...» они кричали с мест: «Не надо лекции, расскажите что-нибудь, Вы так интересно рассказываете...». Вот оно что! Я-то думала, что лекцию читаю, а оказывается, рассказываю что-то. Ну, так тому и быть. Видимо, это были первые звоночки сегодняшнего тренда, признающего, что в насыщенной и доступной информационной среде классическая лекция уходит в прошлое. Становится понятно, что «чтение» лекций – это такие слова, которые в преподавании давно утратили свой первоначальный смысл. По нашим последним студенческим опросам тоже получается, что лекции – один из наименее эффективных методов учебной работы, мало что дающий для результатов образования.

Себя в этой ситуации тешу мыслью, что мои первые педагогические опыты были чем-то вроде пропедевтики с майовтикой, а попросту просветительскими беседами. Ну, и хорошо.

Чтобы закончить рассказ об Академии, скажу еще, что кафедра и лаборатория социологии под руководством Е.Э.Смирновой провела несколько крупных исследовательских проектов в области школьного образования Санкт-Петербурга, часто получавших пионерски новые результаты, которые, к сожалению, остались почти не известными, потому что для 1990-х – начала 2000-х годов были еще очень характерны большие трудности с публикациями.

На этом фоне и уже в процессе подготовки докторской, которая шла в Диссертационной совете факультета социальных наук РГПУ, я начала там работать на вновь открытой кафедре прикладной социологии. Сначала по совместительству, а после защиты – на полную ставку. Кафедральная жизнь в классическом университете, когда юношество, студенты – основная аудитория общения, а социология – и наука, и полноценная учебная дисциплина, точнее, целый спектр специальных дисциплин – это, конечно, еще один радикальный разворот, и еще одна грань профессии, очень специфическая. Если думать об этом

всерьез, то Вам, Борис, пришлось бы открывать новый биографический проект. Впрочем, возможно, в предыдущих почти полутора сотнях Ваших интервью это уже отражено.

С Вашего позволения, не стану сейчас заходить на этот новый виток повествования, только обозначу вкратце сложившийся за 13 лет круг преподаваемых программ и отвечу на вопрос о студентах.

С момента открытия социологического направления в РГПУ, то есть в течение 15, а то и более лет, учебные программы носили довольно стабильный характер и были закреплены за сотрудниками кафедры, состав которой тоже был более чем стабилен. Начиная с примерно с 2009 года стали интенсивно меняться образовательные стандарты, появлялись новые предметы и их, естественно, чаще распределяли на сотрудников новой кафедры, сохраняя учебные планы основного профессорско-преподавательского персонала. В результате я чуть ли не каждый учебный год готовила новые курсы, иногда несколько, причем узнав об этом за несколько дней до начала занятий, и теперь мой набор дисциплин являет собой довольно пеструю картину. Это, прежде всего, то, с чего все началось и то, в чем у меня был и есть немалый научно-исследовательский опыт, – «Социология образования», далее уже помянутый добрым словом курс «Базовые понятия социологии» (очень пригодился для непрофильных отделений университета) и, конечно «Методология и методы», в котором мне тоже было что рассказать из полевой работы. В том числе, например, о наблюдении – на материале экспедиции в Туву к староверам.

Несколько лет на факультете философии человека, запечатлевшем в своем названии одно из социальных «открытий» еще горбачевской перестройки («человеческий фактор») на кафедре «Реклама и связи с общественностью» читала большой годовой курс «Социология (в) рекламной деятельности». Было там это «в» или нет, кафедра сама долго не понимала. Мне было удобно и то, и другое, и курс получился с содержанием, скорее, социокультурным, что-то вроде «Реклама как социокультурное явление». В нем я с большим энтузиазмом из-за точного попадания и яркого содержания, с благодарностью, непременно с ссылками и адресацией к имени автора использовала Ваши, Борис, работы по истории рынка, рекламы и складывания опросного метода в США, опубликованные в журнале «Телескоп». Среди моих любимых сюжетом, исключительно важным для понимания различий в статусе общественного мнения у нас и на Западе, был рассказ о первых переселенцах в Америку, выходцем из которых был, по невероятному стечению обстоятельств, Джордж Гэллап, городском собрании Новой Англии как форме самоуправления и непосредственной демократии и «вшитом» в нее, корневом для нее способе принятия решений на основе мнения членов общины. Вот это вот управление от лица общественного мнения («government by public opinion») или даже правление общественного мнения («rule of the public opinion»). Мне казалось очень важным показать студентам, что опираться в работе власти на общественное мнение – это и реально, и нормально. По реакции в аудитории я видела, что так они это и понимали.

Позже в мой набор дисциплин вошли «Культурология», «Культурная политика» (до недавнего времени не существовавшая, и лучше бы так и было), «Социальное проектирование в образовании», «Социология семьи», «Социология воспитания» (почти не существующая как отрасль науки, но ничего не подела-

ешь, в педуниверситете вещь нужная), «Детская субкультура», «Современная социализация». То есть, пришлось многое узнать, «переварить», в аудитории «прокачать», найти во всем этом собственный интерес, так как без собственного интереса к студентам лучше не ходить. Ошибок наделано немало, но в общем и в основном получается.

Студенты? Я бы не сказала, что меняются студенты. Меняется – и не в лучшую сторону – университет, а они это чувствуют. Сегодня, когда университетских преподавателей по всей стране – ибо такова образовательная политика – загоняют в стойло и берут под уздцы, сооружая вокруг профессии жесткую клетку требований, не имеющих ничего общего с образовательными целями, думать о продуктивной работе со студентами, о развитии своих учебных дисциплин, о саморазвитии, наконец, и о научном продвижении не приходится. Вернее, кто все-таки склонен об этом думать, существуют в профессии на голом энтузиазме, чувстве ответственности и на привычке «не портить руку», то есть попросту не умея халтурить.

Текущие реформации издевательски называются «оптимизацией», и это та оптимизация, которая практически не оставляет места просто университетской жизни и университетской культуре. В этом смысле самое «оптимизированное» место – это кладбище, ведь на нем «все спокойноненько». Так вот, студенты все это чувствуют и тоже существуют в стиле «оптимизации»: работают для заработка практически с 1-го курса, и, к сожалению, халтурят в учебе. А университет смотрит на это сквозь пальцы, а порой и способствует этому. В прошлом году я отказалась подписать одну откровенно скачанную и крайне лицемерную по воспитательной посылке магистерскую курсовую, так ее подписал кто-то другой, и магистрант отделался лишь несколькими минутами стыда в нашем приватном разговоре. Система приучает лгать обе стороны взаимодействия и тем самым участвует, простите за пафос, в разложении нации.

В этих обстоятельствах сто́ит жить и работать ради тех, кто открыт знанию, готов мыслить и чего-то добиваться самостоятельно. И тут неважно, каких идей придерживается человек, путь даже противоположных моим собственным, главное – способность мыслить и готовность разговаривать. Приведу два примера.

1. Юноша, третий курс. Знающий, информированный, хорошо воспитанный. Имеет позицию и отстаивает ее, самый активный спорщик в группе на протяжении семестра. Позиция определенно имеет корни в личных убеждениях, но выдает «обработку» каким-то пропагандистским источником, потому что артикулируется абсолютно стереотипным дискурсом. Я его слышала неоднократно, он оперирует совершенно одними и теми же языковыми мемами и информационными сгустками. Тезис про «всего» 800 тысяч погибших в ГУЛАГе и выносящие мозг аргументы к нему встретила и у этого мальчика, и у взрослого дяденьки, опытного преподавателя, который одновременно обучался в магистратуре и выходил на защиту докторской (по другой дисциплине). Вот когда вспомнишь Б. А. Грушина с Х. Ортега-и-Гассетом. Позволю себе перефразировать: восставшее сознание масс впрыскивает свой субстрат в отдельные фигурки и формочки.

По содержанию – смесь сталинизма с русским национализмом. Молодой человек отчасти признает неправовой характер современной российской действительности, но считает страну вправе нарушать нормы, в том числе, международные, потому что «так поступают все» – везде ложь, пропаганда, агрессия

и т.д. Вот это «так поступают все», «езде так» кажется мне фундаментом всего остального. То есть «в анамнезе» – убеждение в принципиальной единообразии устройства человека и мира. Такое мышление одинаковое видит, а различное – нет. Неразличение сущностных особенностей, упрощенное, неразвитое представление сложного мира, отсутствие способности видеть иные социальные порядки, слабость или отсутствие воображения как инструмента, моделирующего Иное. «Инаконемыслие» и «неспособность практиковать сложность», – как называл это М. К. Мамардашвили. Понятно, что это классика – мировоззренческий инфантилизм в комплекте с политическим патернализмом, но – не наглухо закрытый сосуд. Ибо мы состоим в переписке, и все выше сказанное я мальчику в ответ на его страстное «езде так!», «им можно – значит, и нам можно» – на днях написала. Посмотрим, что будет дальше.

2. Девочка из той же группы. Ее назову по имени, потому что она – Маша Миронова, но не капитанская дочка, а детдомовская. Мальчик, между прочим – Иван. Такая архетипическая пара, хоть и совершенно случайная, т.к. между собой они парой не являются, у каждого свои дружбы и свои любви. Но: «бывают странные схождения» – и в ментально-ценностном смысле они именно архетипическая пара. Потому что мальчик Иван хочет мировой революции, а девочка Маша страстно хочет семьи и счастья. Она мгновенно среагировала на предложенную для курсовой тему, выбрав из довольно большого списка «Счастье как фактор семейного благополучия», написала очень хорошую работу, намерена продолжить тему в дипломе и опасается, что с другим руководителем не сможет сделать того, что ей хочется. Однако из-за необходимости дать дипломников всем сотрудникам кафедры, в том числе, ради должного объема нагрузки в ситуации угрозы сокращения ставок, меня руководителем ее диплома не назначили. И вот маленькая, беленькая девочка Маша, стремясь к своей цели, добилась того, что я все-таки буду консультировать ее диплом. Я бы консультировала его в любом случае, но вследствие ее упорства это будет фактом победы над системой. И я почти не преувеличиваю.

Дорогой Борис Зусманович! У меня такое впечатление, что «Случай Маши Мироновой» может стать хорошим завершением моего биографического интервью. Оно состоялось исключительно потому, что Вы были по-научному настойчивы и по-человечески заинтересованы. Если бы не Ваш живой интерес и полное позитивных оценок побуждение писать, вряд ли я смогла бы это сделать.